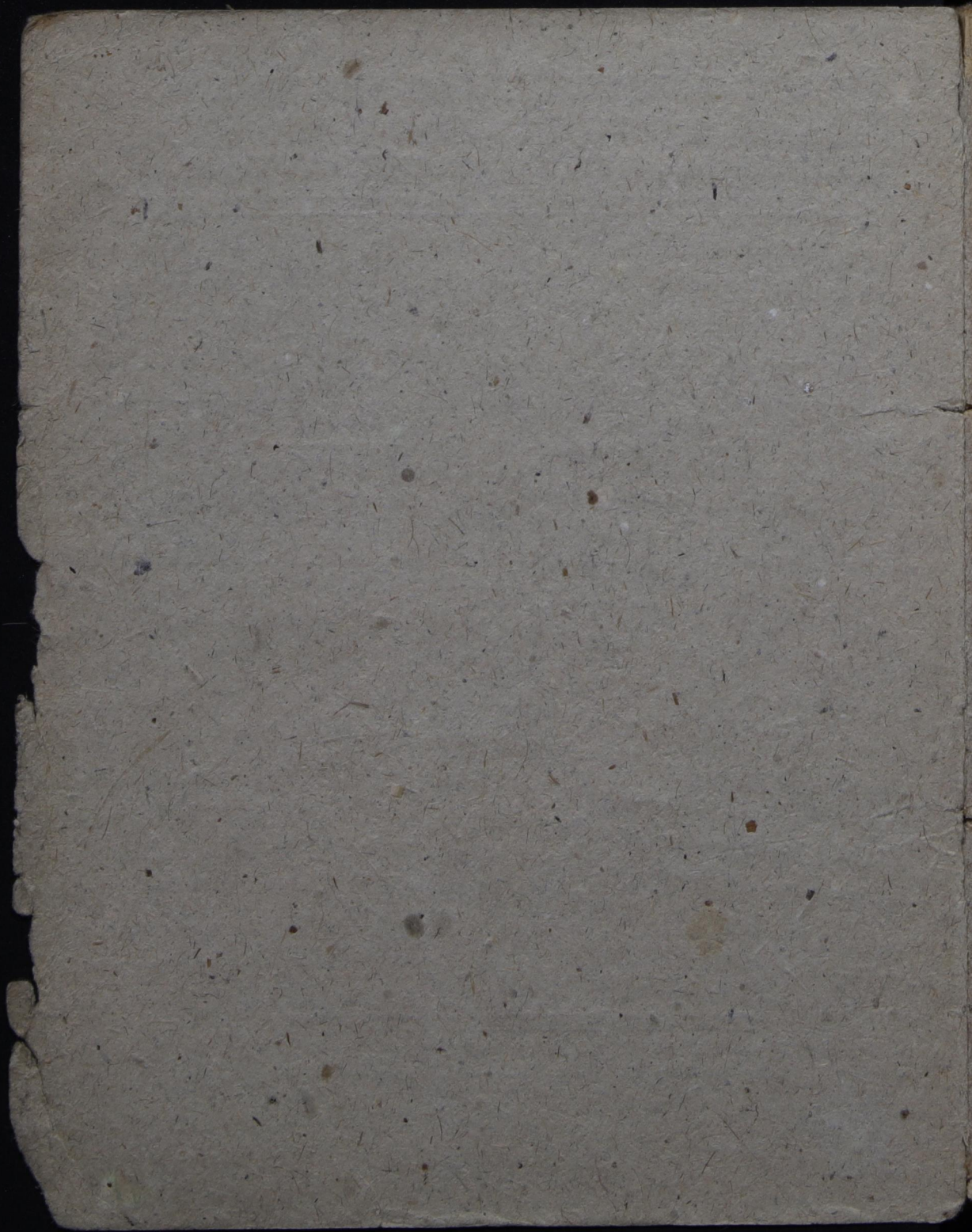

НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

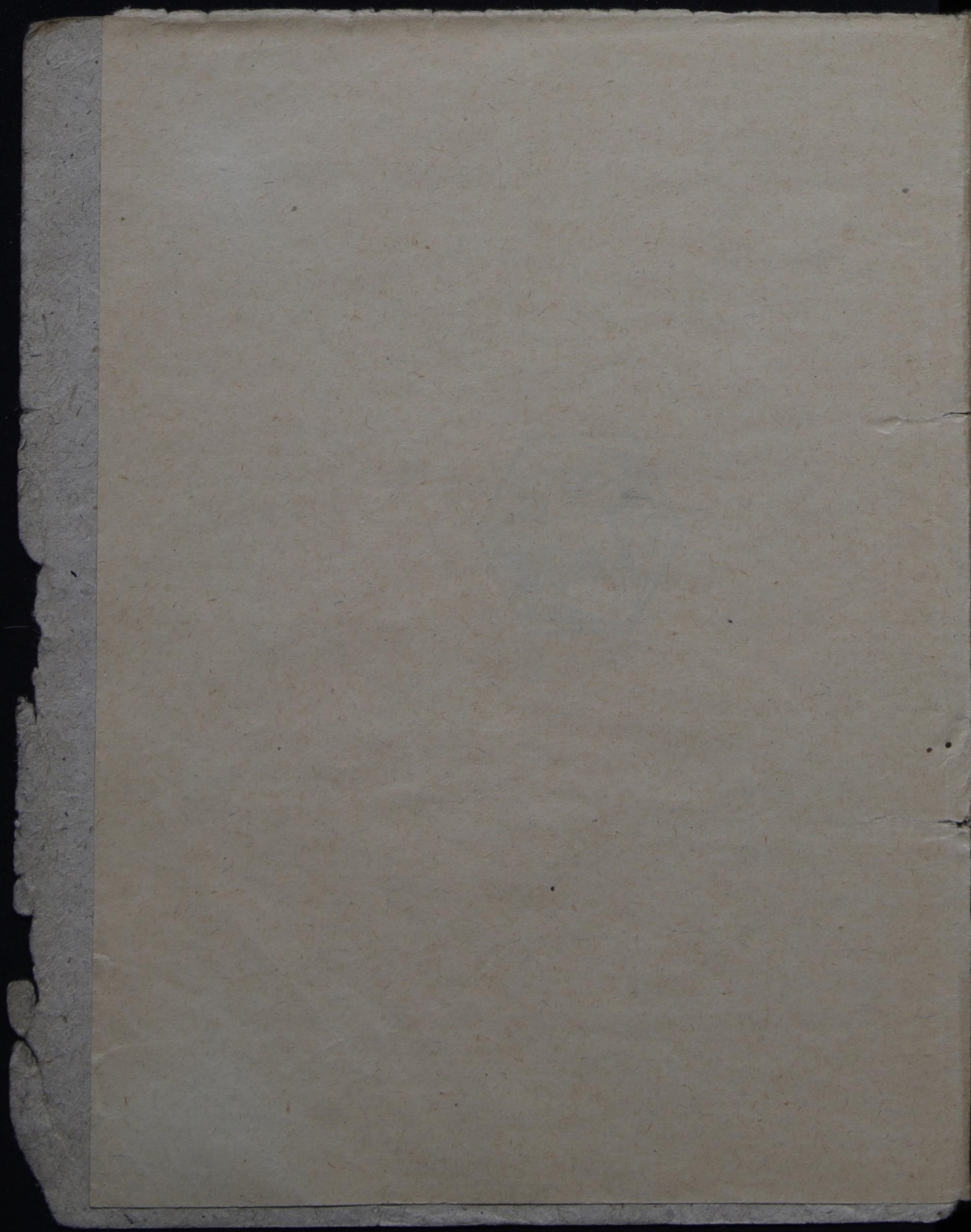
ГИЛБЭРТ ЧЕСТЭРТОН

ЖИВЧЕЛОВЕК

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО







ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

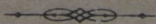
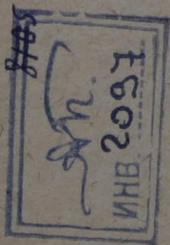
ГИЛБЭРТ ЧЕСТЭРТОН

GILBERT CHESTERTON

(род. 1873)

ЖИВЧЕЛОВЕК

ПРЕДИСЛОВИЕ, ПЕРЕВОД И
ПРИМЕЧАНИЯ К. И. ЧУКОВСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — МСМХХІV — ЛЕНИНГРАД

1515-12

Настоящее издание отпечатано
в Типографии Первой Ленин-
градской Трудовой Артели Пе-
чатников (Моховая, 40) в коли-
честве 3.150 экз. — Ленинград.
Гиз. № 7526. Ленинградский
Гублит № 4526.

ЖИВЧЕЛОВЕК

MANALIVE

1913

THE NEW YORK

LIBRARY

OF THE CITY

ПРЕДИСЛОВИЕ

I

Гилбэрт Кит Честэртон известен у нас в России, главным образом, как автор единственной книги — иронической повести «Человек, который был Четвергом». Между тем он чрезвычайно плодовитый писатель: если бы издать всё, что написано им, получилось бы не меньше ста томов. Разнообразие его талантов поразительно: он пишет и баллады, и рецензии, и философские этюды, и романы, и сыщицкие повести, и морально-религиозные проповеди, и куплеты на злобу дня! Кроме того, он газетный поденщик, журналист на все руки, и нет, кажется, такого явления в английской общественной жизни, на которое он не откликнулся бы.

Откликается он задорно и громко, никогда ни с кем не соглашаясь, полемизируя со всем человечеством. Он всегда при особом мнении—*Athanasius contra mundum*. Он врывается в мир прочно-установленных истин, как бык в посудную лавку, с неукротимой и буйной энергией, и чем он буйнее, тем веселее. Он один из самых бравурных писателей Англии. Нельзя себе представить Честэртона унылым, обескураженным или просто усталым. Он постоянно машет кулаками, рвется в бой и зычно хохочет, словно трубит в боевую трубу. Эта буйная энергия

мысли сказывается даже в ритмах его стихов, всегда мажорных, полнокровных, жизнерадостных. (Полнокровие свойственно ему и физически: уже около четверти века над его феноменальной толщиной изощряются карикатуристы Fleet Street).

Боевой жизнерадостностью преисполнен и его роман «Жив-человек». — Люди, будьте счастливы! — требует в этом романе двойник Честэртона, буйнорадостный Инносент Смит, и для того, чтобы люди почувствовали очарование жизни, стреляет в них из револьвера и кувyrкает их над бездонными пропастями. Великолепны в этом романе страницы, где Инносент Смит, под угрозой смерти, заставляет мрачного пессимиста, ученика Шопенгауэра — усесться верхом на водосточной трубе и, свесив ноги над бездноу, петь благодарственную песню о счастье:

Какое счастье было мне
В веселой Англии родиться
И здесь, на этой крутизне,
С улыбкой радости явиться!

Подобно своему Инносенту, Честэртон принуждает и нас восхищаться лужами, горшками, занавесками, селезнями. Его миссия в том, чтобы заставить читателя по-новому ощутить счастье жизни. Для выполнения этой задачи, он стреляет в нас, как Инносент Смит, и не его вина, если выстрелы его — холостые.

II

Вглядевшись ближе, начинаешь догадываться, что этот бык, ворвавшийся в посудную лавку, ручной. Как бы ни метался он по лавке, посуда остается цела. Он и пылинки не тронет во всем укладе современной Англии. Побушевав, сколько нужно, через несколько страниц утихомирится и смиренно прославит все сущее. За это и любит его средний англо-американский

читатель: за то, что он бунтарь-верноподанный, за то, что, под личиной еретика, в нем скрывается закоренелый догматик, который с самыми революционными жестами выступает на защиту старозаветных традиций.

И в этом отношении Инносент Смит является двойником Честэртона: такой же симулянт революционного пафоса. Вначале кажется, будто он только и делает, что своим неистовым буффонством ниспровергает все уставы и каноны, но в последних главах он оказывается одним из самых верных агнцев современного мещанского стада. Как и подобает такому верному агнцу, он, например, высказывает игривые софизмы о том, что всякая революция есть возвращение вспять, к дореволюционному быту, что всякий прогресс есть иллюзия, и проч. Недаром он сотрудник Daily News, либерал-постепеновец. Рядом с ним даже такие умеренные люди, как Герберт Уэллс, Бернард Шоу и Голсуорси, кажутся крайними левыми.

Для того, чтобы произвести впечатление дерзкого, задорного, боевого писателя, Честэртон постоянно прибегает к одному литературному приему, который от частого применения успел обветшать. Прием заключается в том, чтобы каждый банальнейший трюизм обывательской мудрости—вывернуть наизнанку, отчего неопытному глазу любая тривиальная мысль может показаться парадоксом. Этот безобидный прием, завещанный английскому журнализму Оскаром Уайльдом, доведен у Честэртона до крайности. Трудно найти в его книгах страницу, где не было бы изготовленных таким механическим путем парадоксов. Вначале они пугают и радуют, но потом становится ясно, что банальщина наизворот—та же банальщина.

III

Здесь органический порок Честэртона, парализующий его влияние на современного русского читателя. Но *внешних* чисто-

литературных достоинств у него великое множество: подвижной, непоседливый, диалектический ум; горячий темперамент сангвиника; ошеломительная эксцентричность сюжетов; универсальная эрудиция; богатый и разнообразный словарь, — все качества большого писателя. Таким и является Честэртон в сознании образованного английского общества. Совершенное им в прошлом году лекционное турнэ по Америке показало, до какой степени он популярен: турнэ превратилось в триумфальное шествие; такими овациями американцы встречали в свое время только Чарлза Диккенса.

В настоящее время Честэртону около пятидесяти лет. Он родился в Лондоне в 1873 году. Первый сборник его стихов «Неистовый Рыцарь» вышел в 1900 году. Из романов и повестей, написанных им, наибольшим успехом пользуются «Наполеон из Ноттинг Хилла» (1903), «Клуб удивительных промыслов» (1905), «Человек, который был Четвергом» (1907), а также две книги детективных рассказов о католическом патере Брауне, который посвятил себя уголовному сыску: «Мудрость отца Брауна» и «Простосердечие отца Брауна». Последняя из его беллетристических книг — «Живчеловек» — написана в 1913 году, за год до германской войны.

В Англии Честэртона ценят, главным образом, как литературного критика. Его книги о Роберте Браунинге (1903), о Диккенсе (1906), о Бернанде Шо (1909) — выдержали множество изданий. Под фельетонной фразеологией читателям удалось уловить глубоко-продуманные, самобытные мысли. Можно смело сказать, что все современное поколение английских читателей ощущает Диккенса — по Честэртону. Его критические статьи исчисляются тысячами. Среди них наиболее значительны те, которые вошли в его книгу «Двенадцать типов» (Байрон, Лев Толстой, Вальтер Скотт, Карлейль и др.). Его философские взгляды наиболее полно отразились в двух сборниках литературно-философских этюдов: «Еретики» (1905) и «Ортодоксия»

(1908). Как эссеист он не имеет себе равных в современной английской словесности. Популярнейшим сборником его эссе являются его «Потрясающие пустяки» (1909), где читателю, между прочим, предлагаются такие сюжеты: «Что я нашел у себя в кармане», «О лежании в постели», «Ортодоксальный цырюльник», «Игрушечный театр», «Доисторическая железнодорожная станция», «Трагедия двухпенсовой монеты», «Почему хорошо иметь только одну ногу», и проч. В прошлом году в Англии с большим шумом была встречена его книга «Евгеника и другие несчастья», вызвавшая резкую отповедь Бернарда Шо. К сожалению, эта книга известна нам пока лишь по заглавию.

К. Чуковский

ЧАСТЬ I

Загадки Инносента Смита

Глава I

КАК ВЕЛИКИЙ ВЕТЕР ВОРВАЛСЯ В ДОМ МАЯКА

Буйный ветер поднялся на западе, словно волна неизъяснимого счастья, и понесся к востоку над Англией, распространяя прохладные ароматы лесов и пьяное дыхание моря. В миллионах закоулков и щелей он освежал человека, точно бутылка вина, и ошеломлял, как удар. В отдаленнейших комнатах глухих, непроницаемых зданий он пробуждался, как взрыв динамита. В кабинете у профессора он разбрасывал по полу рукописи, казавшиеся тем драгоценнее, чем труднее было их поймать. Он тушил свечку у школьника, читавшего «Остров Сокровищ» ¹⁾, и повергал его в крошечную тьму. Развевая над миром знамя великого бунта, он вносил драму в самые мирные души. Вздрагивала

¹⁾ «Остров Сокровищ» -- роман Стивенсона, любимое чтение английских подростков.

в тревоге убогая мать, увидев мотающиеся на веревке, под ветром, на заднем дворе, пять детских рубашонки, точно повесила она своих пятерых малышей; рубашонки раздувались от ветра и начинали драться, будто в каждую вселился пузатый чертенок. И где-то в глубине удрученного сознания женщины просыпались дикие отцовские сказки о тех временах, когда среди людей жили эльфы. И много было в тот вечер незамечаемых девушек, которые, гуляя по мокрым садам, окруженным высокими стенами, бросались в гамак так отчаянно, словно бросались в Темзу. А ветер врвался сквозь зыбкую живую ограду, налетал на гамак, и гамак взлетал воздушным шаром, показывая девушке причудливые высокие тучи, а там внизу веселые деревни, ярко озаренные солнцем, словно девушка неслась по небесной лазури в волшебном челноке над землей. Запыленным пономарям и викариям, бредущим среди тополей по телескопам дорог, в сотый раз казался каждый тополь черным пером катафалка. Тополя были подхвачены незримою силою, взвились и завертелись вокруг каждого путника, словно венок или приветливый шелест серафических крыльев. Этот ветер был еще влажнее, еще вдохновеннее того старого ветра, о котором говорится в пословице, потому что это был добрый ветер, никому не навевающий зла ¹⁾).

Крылатый вихрь ударил по северной окраине Лондона, там, где Лондон, словно Эдинбург — терраса за террасой — вскарабкивается на отвесные кручи. Однажды какой-то поэт, быть может возвращаясь с попойки, поднял глаза вверх и с удивлением увидел, что все

¹⁾ Английская пословица: «Злой ветер никому не навевает добра».

улицы встали дыбом и поднялись к небесам. Ему смутно представились ледники и опоясанные канатом туристы; он назвал эту местность «Швейцарская Хижина», и прозвище прилипло к ней навсегда. С запада она обрывалась крутосклоном высоких и серых домов, по большей части пустующих, почти столь же унылых, как холмы Грампианов¹⁾. Крайний дом, пансионат «Маяк», узкий, высокий, обращенный к закатному солнцу, вздымался, как величественный нос покинутого людьми корабля.

Корабль, однако, был покинут не всеми.

Содержательница пансиона, некая миссис Дьюк, была одно из тех беспомощных созданий, перед коими отступает в бессилии самая злая судьба. Она улыбалась одинаковой неопределенной улыбкой—до всякого несчастья и после. Она была слишком мягка и потому не могла ушибиться. Но с помощью (вернее, под командой) предприимчивой и энергичной племянницы ей всегда удавалось удержать у себя в пансионе несколько жильцов—по большей части молодых, но беспечных. В ту минуту, когда великий ветер примчался к подножию крайней башни и стал штурмовать ее, как море штурмует передний утес, пятеро жильцов миссис Дьюк невесело прогуливались по саду: трое мужчин и две девушки.

Весь день тяжелые тучи висели печатью проклятия над громадой лондонских домов, но квартиранты миссис Дьюк предпочли холодный и пасмурный сад темным и унылым покоем. Когда нагрянул ветер, он разорвал небеса пополам, расшвырял тучи направо и налево и обнажил необъятные ясные горны вечернего золота. Струя света сбросила оковы почти в то самое мгнове-

¹⁾ Грампианы—горы в центральной Шотландии.

ние, когда сорвался ураган и яростно накинулся на все, что лежало у него по пути. Низкая, блестящая трава сразу полегла в одну сторону, словно приглаженные щеткою волосы. Каждый кустик в саду стал дергаться, срываться с корешка, словно собака с цепи. Каждый прыгающий листочек понесла на себе всеокрушительная буйная сила. Как стрелы из арбалета, со свистом неслись отломанные от деревьев ветки. Закоченелые мужчины встали спиною к ветру, словно опираясь на стену. Дамы кинулись в дом, или, говоря по правде, дамы были вдунуты в дом. Их блузы—синяя и белая—казались большими цветками, гонимыми бурей. Это высокое сравнение было в ту пору уместно: таким романтическим чудом явился поток воздуха и света, хлынувший на землю после долгого темного, туманного дня. Трава и деревья в саду засветились ласковым и в то же время призрачным сиянием закатного солнца—будто светом костра из волшебного царства. Было похоже, что солнце ошиблось: восходило не утром, а вечером.

Девушка в белом нырнула в дом чрезвычайно поспешно, потому что ее белая шляпа, величиной с парашют, грозила унести ее к раскрашенным вечерним облакам. Для безденежных обитателей пансиона она была олицетворением богатства и роскоши, ибо не так давно получила небольшое наследство. Она поселилась в «Маяке» на-днях и проживала там вместе с подругой. Темноглазая, круглолицая, она была, однако, решительна и даже, пожалуй, бойка. Увенчанная богатством, добродушная и миловидная, она, однако, оставалась незамужней. Быть может, она не выходила замуж потому, что постоянно была окружена целым роем поклонников. У нее были хорошие манеры (хотя многие называли бы ее вульгарной); на нерешительных юнцов она про-

изводила впечатление очень популярной и вместе с тем недоступной женщины. Влюбленному казалось, будто он влюблен в Клеопатру или стучится у двери в уборную к знаменитой актрисе. Театральные блески и в самом деле украшали мисс Хант: она играла на гитаре и на мандолине и вечно требовала, чтобы ставили шарады. Грандиозный турнир солнца и бури затронул ее театральные чувства: детскую мелодраму почувствовала она в этом турнире. Над бурным хаосом пространства взвились облака, словно занавес над долгожданной пантомимой.

Девушка в синем тоже не осталась равнодушна к апокалипсису в маленьком саду, хотя во всем свете не было более прозаического существа, чем она: это была та предприимчивая, энергичная племянница, которая своей энергией спасала пансион от краха. Но когда ветер раздул ее юбку и юбку мисс Хант — синию и белую — наподобие гигантских грибовидных кринолинов времен королевы Виктории, в ее душе тоже проснулось поэтичное, забытое, дивное: пыльный том «Панча» ¹⁾, который она читала ребенком у тетки: обручи кринолинов, обручи крокета на картинке и какой-то грациозный рассказ, в котором, кажется, говорилось о них. Это слабое благоухание прошлого поблекло почти мгновенно, и Диана Дьюк вошла в дом еще поспешнее, чем ее спутница. Тонкая, стройная, гибкая, черная, она, казалось, была создана для стремительных, внезапных движений. Фигурой она напоминала тех продолговатых птиц и зверей, которые отличаются большой быстротой: борзую или цаплю, или даже безобидную змею. Весь дом вертелся на ней, как на стальном стержне. Она не то, чтобы командовала в доме, о нет! Но она

¹⁾ «Punch» — английский юмористический журнал.

была так энергична и так нетерпелива, что сама исполняла свои приказания, не дожидаясь, чтобы их исполнили другие. Прежде, чем монтер успевал починить электрический звонок, или слесарь — открыть дверь, или дантист — вырвать расшатанный зуб, или буфетчик — выдернуть тугую пробку, — это уже было сделано — молчаливо и яростно — ее стремительными маленькими пальчиками. Она была подвижна, но в этой подвижности не было ничего суетливого. Она шпорилa землю, по которой ступала. Много было говорено о трагедии некрасивых женщин; но еще более патетична трагедия женщины, которая красива и одарена всеми достоинствами, за исключением женственности.

— Ну и ветер! Голову сорвет! — сказала девушка в белом, направляясь к зеркалу.

Девушка в синем ничего не ответила, сняла перчатки, подошла к буфету и стала расстилать на столе дневную чайную скатерть.

— Я говорю, голову сорвет! — повторила мисс Розамунда Хант. Она была непоколебимо уверена, что слова и песни, исходящие из ее уст, не потеряют своей прелести от повторения.

— Не голову, а шляпу! — сказала Диана Дьюк. — Но шляпа иногда поважнее.

Лицо Розамунды приняло на минуту капризное выражение избалованного ребенка, но скоро опять отразило добродушие очень здоровой женщины.

— Силен же должен быть ветер, который снесет вашу голову, — со смехом сказала она.

Снова наступило молчание. Снова закатное солнце прорвалось сквозь разорванные тучи, залило комнату мягким огнем и расписало мрачные стены золотыми и пурпурными красками.

— Мне кто-то говорил, — сказала Розамунда Хант, — что, если потеряешь сердце, легче сохранить голову.

— Перестаньте болтать чепуху! — резко перебила Диана.

Сад облачился в роскошные золотые одежды. Но ветер продолжал бушевать, и мужчинам также пришлось призадуматься над проблемой шляп и голов. У каждого из них шляпа отлично выражала характер владельца. У самого высокого на голове был цилиндр; ветер казался столь же бессилён поколебать эту башню, как сдвинуть с места унылую громаду пансиона. Второй сначала пытался удержать на голове свою жесткую соломенную шляпу, но в конце концов ему пришлось снять ее и держать в руке. Третий был без шляпы и держался так, словно шляпы у него никогда и не было. Быть может, ветер служил волшебным жезлом для распознавания мужчин и женщин, — столько своего, самобытного проявилось у каждого из этих мужчин при испытании ветром.

Мужчина в солидном шелковом цилиндре был воплощением шелковой мягкости и солидности — большой, ласковый, скучающий и (по мнению некоторых) навевающий скуку. У него были гладкие светлые волосы, черты лица красивые и крупные, звали его Уорнер, он был преуспевающий доктор. Хотя его бесцветные волосы и придавали ему несколько простоватую внешность, он был далеко не глуп. Если Розамунда Хант слыла единственной богачкой в пансионе, то Уорнер был среди собравшейся компании единственным человеком, снискавшим в мире кое-какую славу. Его трактат «О возможности ощущения боли низшими организмами» превозносился повсюду в ученых кругах, как солидный и вместе с тем смелый труд. Короче говоря, у него были

мозги, но не его вина, если такие мозги можно исследовать лишь кочергой.

Молодой человек, то снимавший, то надевавший шляпу, был дилетантом в науке. С восторженной непосредственностью боготворил он великого Уорнера. Это он пригласил его сюда, в пансион. Уорнер и не мог быть, конечно, обитателем этого убогого жилья,—он занимал собственный докторский дом в Харли-Стрит. Румяный, темноволосый и застенчивый юноша был самым молодым и миловидным из всех трех джентльменов. Но он принадлежал к тому разряду людей, у которых красота соединена с незначительностью. Мигая глазами, весь красный, стоял он лицом к ветру, и нежные черты его лица грубели и темнели, покрываясь коричнево-красным румянцем. Он был самый заурядный и незаметный молодой человек. Все знали, что зовут его Артур Инглвуд, что он смысленный, холостой, высоко-нравственный; что живет он на собственные скромные средства и имеет две слабости: фотографию и велосипед. Всякий знал его и всякий забывал. Даже теперь, в озарении золотого заката, его фигура была смутной и неясной, без отчетливых линий, словно любительские темно-бурые снимки, фабрикуемые его аппаратом.

Третий был без шляпы; он был худ, а легкий спортивный костюм и большая трубка в зубах еще подчеркивали его худобу. Длинное насмешливое лицо, иссиня черные волосы, синие ирландские глаза, и синий подбородок актера. Ирландцем он был, но актером он не был, если не считать его давнишнего участия в шарадах мисс Хант. Был он журналистом, неизвестным и бойким, по имени Майкэл Мун. Прежде он, кажется, готовился к *бару*; но друзья чаще заставляли его в *баре* иного

рода ¹⁾. Мун не был пьяницей и напивался редко; но у него было пристрастие к дурной компании. Дурная компания проще великосветского общества, а с девицами в барах ему было весело разговаривать потому, главным образом, что говорил не он, а девицы. Кроме того, на подмогу девицам он нередко привозил с собой в кабак какого-нибудь даровитого друга. Он обладал странностью, характерной для подобных субъектов, умных и лишенных самолюбия,—он охотно водился с людьми, которые были ниже его по развитию. В том же пансионе жил Моисей Гульд, маленький юркий еврей. Майкэл забавлялся его негритянским проворством, его пронырливостью и таскал его за собою из бара в бар, как шарманщик ученую обезьяну.

Все шире и шире становилась необъятная пробоина, проторенная ветром в облаках; небеса открывали чертог за чертогом. Казалось, еще немного—и засияет свет, который светлее света! В полноте безмолвного величия все предметы вновь вернули себе свои краски, серые стволы стали серебряными, а грязный гравий стал золотом. Как оборванный листок, перелетала с дерева на дерево какая-то птица, и ее темные перья горели огнем.

— Ингвуд,—спросил Майкэл Мун, следя голубыми глазами за птицей,—есть ли у вас друзья?

Уорнеру показалось, что вопрос обращен к нему и, повернув к Муну свое широкое лоснящееся лицо, он сказал:

— О да, я часто хожу в гости!

Майкэл Мун саркастически улыбнулся и стал молча ожидать ответа от Ингвуда, а тот заговорил не сразу, и казалось, что его свежий, молодой, спокойный голос

¹⁾ «Бар»—суд и «бар»—кабачок; игра слов.

исходит из окружающего мрачного и даже пыльного хаоса:

— К сожалению,—сказал он,—я растерял своих старых друзей. В школе я очень дружил с одним мальчиком, по фамилии Смит. Странно, что вы именно сейчас заговорили об этом; я как раз сегодня вспоминал моего школьного товарища, а мы не виделись с ним семь или восемь лет. У нас были общие любимые уроки,—не глупый был он малый, хотя и со странностями. Он уехал в Оксфорд, я—в Германию. История довольно грустная. Я часто писал ему и приглашал его приехать ко мне погостить, но не получал ответа, и я навел о нем справки. И с великим огорчением узнал, что бедняга сошел с ума. Сведения были, правда, довольно туманные; некоторые утверждали, что он выздоровел, но так уж принято говорить о помешанных. С год тому назад я получил от него телеграмму. Как это ни грустно, но телеграмма подтвердила прискорбные слухи.

— Конечно! — промолвил бесстрастно Уорнер. — Безумие неизлечимо.

— Ум тоже,—сказал ирландец и мрачно взглянул на Уорнера.

— Симптомы? — спросил доктор. — Что это за телеграмма?

— Стыдно смеяться над такими вещами,—сказал Инглвуд с обычной прямоотой и застенчивостью. — В этой телеграмме не Смит, а его болезнь. «Найден живой человек на двух ногах», вот подлинные слова телеграммы.

— Живой на двух ногах? — повторил Майкэл и нахмурился.

— Быть может, там сказано не живой человек, а буян? Я мало знаком с сумасшедшими, но мне кажется, они всегда дерутся.

— А умные? — улыбаясь, спросил Уорнер.

— Умных нужно драть, — ответил с неожиданной горячностью Майкэл.

— Послание сумасшедшее, — продолжал невозмутимый Уорнер. — Какой же нормальный человек станет сообщать в телеграммах такие общеизвестные вещи? Каждый ребенок знает, что людей на трех ногах не бывает.

— Ах, как бы пригодилась нам теперь третья нога! В такую бурю! — сказал Майкэл Мун.

Новый порыв урагана чуть не повалил их на землю и чуть не сломал почернелые деревья в саду. А наверху, над головою, неслись всевозможные случайные вещи: соломинки, лоскутья, ветки, бумажки, и даже — далеко-далеко мелкнула исчезающая шляпа. Исчезновение ее не было, однако, окончательным. Через несколько минут стоящие в саду опять увидели ее; она была ближе и больше; белая панама, словно воздушный шар, летевшая ввысь к облакам. Бумажным змеем кувыркалась она в воздухе, появляясь то тут, то там, и наконец, нерешительно, как оторванный с дерева лист, опустилась на лужайку среди трех джентльмэнов.

— Кто-то потерял хорошую шляпу, — констатировал доктор Уорнер.

Не успел он договорить, как вслед за летевшей панамой пронесся над решеткой какой-то другой предмет, оказавшийся большим зеленым зонтиком. За ним, кружась, как волчок, промчался желтый чемодан, колоссальных размеров, а вслед затем в воздухе заметались, вертясь колесом, чьи-то ноги, как на гербе острова Мэн ¹⁾.

¹⁾ Остров Мэн — в Ирландском море. На гербе этого острова изображено три ноги.

Хотя с первого взгляда казалось, что ног было пять или шесть, но наземь спустилась фигура, обладавшая только двумя ногами, по примеру того человека, о котором упоминалось в загадочной телеграмме. Фигура приняла образ огромного блондина в светло-зеленом праздничном костюме. Блестящие, светлые волосы этого человека были откинута ветром назад, на немецкий манер, большой, острый нос его выдавался вперед, почти как у собаки, а румяным, открытым лицом он напоминал херувима. Но голову его нельзя было назвать херувимской. Напротив, на широких плечах и громадном туловище она казалась нелепой и неестественно маленькой. Обстоятельство это служило научной основой гипотезы, всецело подтвердившейся его поведением, что он—идиот.

Инглвуд был инстинктивно вежлив, но вежливость его была неуклюжая. Его жизнь была полна незаконченных услужливых жестов. И необычайное появление огромного человека в зеленом, перескочившего через стену, наподобие зеленого кузнечика, не парализовало его привычки быть альтруистом в таких мелочах, как потерянная шляпа. Он сделал шаг вперед, чтобы поднять головной убор зеленого джентльмена, но в ту же минуту остановился, как вкопанный, оглушенный нечеловеческим ревом.

— Не по-спортсмански! — орал широкоплечий верзила. — Не мешайте ей бежать, не мешайте!

Быстро, но осторожно, с пылающим взглядом, гигант помчался за собственной шляпой. Шляпа не двигалась: казалось, что она нежится только на солнце, но с новым порывом ветра она заплясала по саду дьявольское *pas de quatre*. Запыхавшись, прыгая, как кенгуру, скакал за нею эксцентрик, кидая на ходу обрывки полу-бесмысленных фраз:

— Чистая игра, чистая игра... Королевский спорт... Погоня за коронами... Очень гуманно... Трамонтана¹⁾... Кардиналы гонятся за красными шапками... Старинная английская охота... Вспугнули шляпу в Брамбер-Комбе... Шляпа затравлена... Стойка гончих... Ату ее!.. Есть!..

Глухое рычание ветра превратилось в пронзительный вой. Гигант подпрыгнул к небу на своих мощных фантастически-длинных ногах, прихлопнул рукою бегущую шляпу, но шляпа увильнула от него, и он—распластался на траве носом в землю. Как торжествующая птица, взвилась шляпа у него над головой. Но торжество ее было преждевременным; ибо безумец встал на руки, вскинул ноги кверху, заболтал ими в воздухе, как символическими знаменами (зрителям опять припомнился текст телеграммы), и на виду у всех поймал шляпу ногами. Долгий, пронзительный вой ветра рассек небесный свод с одного конца до другого. Мужчины были ослеплены этим невидимым вихрем; казалось, будто странный водопад, совершенно прозрачный, отрезал их от окружающего мира. И когда великан снова перекувырнулся и, сидя на земле, торжественно увенчал свою голову шляпой, Майкэл, к своему величайшему удивлению, почувствовал, что он глядел на эту сцену, затаив дыхание, точно секундант на дуэли.

Когда буйный ветер достиг вершины своего небоскрежного взлета, вдруг раздался короткий крик. Резко начался он, но быстро оборвался, внезапно потонув в тишине. Ворсистый черный цилиндр доктора Уорнера, его официальный головной убор, слетел с головы, понесся по длинной, плавной параболе ввысь, точно воздушный корабль, и застрял в самых верхних сучьях какого то дерева, как бы возглавляя его. Еще

¹⁾ Ветер, дующий со стороны гор.

одна шляпа улетела. Людям в саду показалось, что они попали в водоворот необычайных событий: никто не знал, что будет схвачено ветром в ближайшую очередь. Не успели они опомниться, как жизнерадостный и шумный охотник за шляпами был уже на дереве, на полпути от цилиндра; прыгая своими крепкими, согнутыми, как у кузнечика, ногами с ветки на ветку, он не переставал выкрикивать отрывистые таинственные фразы:

— Древо жизни... Игдразиль¹⁾... Карабкаться несколько веков... Совы гнездятся в шляпе... Отдаленные поколения сов... все же узурпаторы.. Улетела на небо... Житель луны надевает ее... Разбойник!.. Она не твоя!.. Она принадлежит унылому врачу... в саду... Отдай ее!.. Отдай ее!

Ветер гремел, как гром. Дерево металось, раскачивалось и рвалось во все стороны, словно тростинка, пылая под лучами солнца, как костер. Зеленая фантастическая фигура, резко выделявшаяся среди пурпура и золота осени, сидела на самых верхних тонких и ломких ветвях, и только по странной счастливой случайности эти ветви не подломились под тяжестью огромного тела. Гигант притаился между верхними последними дрожащими листьями и первой мигающей вечерней звездой. Он продолжал, как бы оправдываясь, выбрасывать из себя рассудительные, веселые, отрывистые выкрики. Должно быть, он запыхался, так как всю свою нелепую погоню за шляпой совершил без передышки, мгновенно, вскочив на стену, как футбольный мяч, взвился на дерево, точно ракета. Зрители были погребены под этой грудой событий, которые бешеным вихрем следовали одно за дру-

¹⁾ Игдразиль—древо жизни в Скандинавской мифологии; вершиной оно достигает неба, корнями уходит в подземное царство.

гим. У всех у трех блеснула одновременно одна и та же мысль. Дерево стоит здесь пять лет,—все время, пока они живут в пансионе. Все они сильны и энергичны. И ни одному из них ни разу не пришло в голову взобраться на это дерево. Инглвуд был поражен сочетанием красок: светлые свежие листья, суровое синее небо, буйные зеленые руки и ноги — напомнили ему что-то далекое, детское: какого-то пестрого человека на золотом дереве. (Быть может, это был только портрет обезьяны, сидящей на длинном шесте). Хотя Майкэл Мун был юморист по натуре, в душе у него тоже зазвучали нежные струны; ему вспомнилось, как в прежние годы он играл с Розамундой «в театр», и он удивился, заметив, что бессознательно повторяет слова Шекспира:

Любовь есть Геркулес, который и поныне
Взбирается на дерево в саду
Прекрасных Гесперид...

Даже неподвижного представителя науки посетило буйное, светлое чувство: ему померещилось, что Машине Времени дали полный ход, и она с бешеным грохотом понеслась вперед, как безумная, вскачь.

Доктор Уорнер не ожидал того, что случилось. Человек в зеленом, сидя на тонкой ветке, как ведьма на ненадежном помеле, протянул руку вверх и вынул черный цилиндр из того гнездовья, в котором эта шляпа очутилась. Шляпа порвалась о толстый сук еще в самом начале своего путешествия. Ветки исцарапали, испортили ее во всех направлениях, а ветер и листва сплюснули ее, как концертину. Услужливый востроносый джентльмэн тоже не проявил особой нежности к фасону и форме шляпы. Его эксперименты над шляпой показались кое-кому необычными. С громким победным

криком замахал он цилиндром в воздухе, затем кинулся с дерева вниз головою, однако не упал, а вцепился в листву длинными могучими ногами и повис, как обезьяна на хвосте. Свесившись таким образом над непокрытой головой Уорнера, он торжественно нахлобучил ему ломаный цилиндр по самые брови.

— Каждый человек—король!—пояснил этот философ наизнанку, и поэтому каждая шляпа—корона. Но эта корона—с неба...

И он снова приступил к торжественному коронованию Уорнера; тот с величайшей поспешностью уклонился от осеняющей его диадемы. Как это ни странно, Уорнер, повидимому, не желал украсить чело своим старым головным убором в его новом, небывалом виде.

— Неправильно вы поступаете!—орал с шумной веселостью услужливый господин.—Носите форму всегда,—даже драную, даже истасканную! Ритуалист имеет право быть грязным. Пусть ваша манишка испачкана сажей, но на бал вы должны прийти непременно в манишке! Охотник носит потертый камзол, но этот старый камзол все-таки пунцового цвета. Носите котелок, даже дырявый насквозь: потому что главное, главное—символ! Возьмите вашу шляпу, вы, старый петух,—все же она ваша! Правда, ворс у нее немного попорчен и поля немного искривились. Но, клянусь всеми благами мира, это самая благородная шляпа на свете!..

Произнеся эти слова, он с дикой непринужденностью надвинул, или, вернее, нахлобучил растерявшемуся доктору бесформенный цилиндр прямо на глаза, прыгнул на землю и сияющий, бездыханный, встал среди остальных джентльменов, не переставая болтать.

— Почему так мало придумано игр для забавы во время ветра?—спрашивал он, видимо волнуясь.—Бумаж-

ные змеи отличная вещь, но почему только бумажные змеи? Вот я придумал, пока взбирался на дерево, три новых игры—на случай ветренного дня. Например, такая: вы берете пригоршню перцу...

— Мне кажется,—прервал его Мун с насмешливой кротостью,—что и эти ваши игры достаточно интересны; но позвольте спросить, кто вы такой: странствующий акробат или ходячая реклама Солнечного Джима? Как и почему проявляете вы столько энергии, перелезая через стены и взбираясь на деревья в нашем меланхолическом, но не сошедшем с ума захолустьи?

Незнакомец постарался, насколько это было по силам его громогласной натуре, принять конфиденциальный тон.

— Видите ли, это трюк моего изобретения,—откровенно признался он.—Для этого нужно иметь две ноги.

Артур Инглвуд, стушевавшийся на задний план во время этой сумасшедшей сцены, восторженно и впился в пришельца своим близорукими глазами. Его румянец стал еще румянее.

— Да ведь вы—Смит!—вскричал он обычным свежим мальчишеским голосом и через минуту прибавил:—А может быть, и не Смит...

— Кажется, у меня где-то есть визитная карточка,—произнес незнакомец с напускною торжественностью,—карточка, где обозначено мое подлинное имя, мои титулы и чины, а также указана цель, ради которой я живу на этой планете.

Медленно вынул он из верхнего жилетного кармана ярко-красную коробку для карточек и так же медленно извлек оттуда визитную карточку огромных размеров. Пока он вынимал ее, присутствующие успели заметить, что карточка эта имела необычайную форму—не такую,

как визитные карточки других джентльменов. Но один только миг была она видна окружающим; когда она переходила из рук незнакомца к Артуру, один из них не успел ее удержать. Неугомонный ветер, бушевавший в саду, налетел на нее и унес ее прочь в бесконечную даль к другим ошалелым бумажкам вселенной; тот же великий западный ветер потряс до основания весь дом и пронесся дальше—на восток.

Глава II

ПОЖИТКИ ОПТИМИСТА

Кто из нас не помнит научных сказок, слышанных нами в детстве,—сказок о том, что случилось бы, если бы крупные животные прыгали так же высоко, как животные малые. Если бы слон был силен, как кузнечик, он мог бы (мне кажется) без труда выпрыгнуть из Зоологического сада и усесться с победным ревом на верхушке Примроз-Хилла ¹⁾. Если бы киты могли выскакивать из воды, как форели, мы, может статься, увидели бы кита над Ярмутом, наподобие летающего острова Лапута ²⁾.

Эта природная энергия, несомненно величественная, обладала бы, однако, неудобствами. Такие неудобства и возникли в связи с веселым нравом и добрыми намерениями человека в зеленом костюме. Слишком был он велик по сравнению с окружающим миром; и

¹⁾ Примроз-Хилл—квартал в Лондоне, прилегающий к тому парку, где расположен Зоологический сад.

²⁾ Фантастический летающий остров Лапута описывается у Свифта в «Приключениях Гулливера».

насколько был он велик, настолько же и подвижен. Благодаря мудрому устройству природы, большинство крупнейших животных обладают спокойным нравом; а лондонские пансионы среднего калибра не строятся в расчете на постояльца—огромного, как бык, и непоседливого, как котенок.

Когда Инглвуд вошел обратно в комнаты вслед за незнакомым мужчиной, он увидел, что тот беседует очень серьезно (и, по его мнению, секретно) с беспомощной миссис Дьюк. Подобно умирающей рыбе, эта полная, томная дама смотрела, выпучив глаза, на громадного вновь прибывшего господина, который вежливо просился в жилыцы пансиона, сопровождая свои слова широчайшими жестами, держа в одной руке желтый чемодан, а в другой—белую широкополую шляпу.

К счастью, деловитая племянница миссис Дьюк находилась здесь же и могла вступить с ним в переговоры. В комнате собрались к тому времени все обитатели дома. Факт этот, кстати, был чрезвычайно характерен. Гость создал вокруг себя атмосферу веселого кризиса. С минуты его появления вплоть до его исчезновения, вся компания окружала его тесным кольцом, глазела на него и ходила за ним по пятам, как уличные дети за Панчом ¹⁾. Час тому назад, как и во все предыдущие четыре года, эти люди чуждались друг друга, хотя и питали друг к другу симпатию. Они лишь тогда выходили из своих мрачных комнат, если искали какой-нибудь номер газеты или свое рукоделье. Впрочем, и теперь собрались они как бы случайно, каждый по своему делу, но собрались все до одного человека. Тут был и растерявшийся Инглвуд, все еще похожий на некую

¹⁾ «Панч» — английский Петрушка.

красную тень, туда пришел и нерастерявшийся Уорнер—бледная, но плотная субстанция. Туда пришел и Майкэл Мун,—его пестрый, вульгарный костюм был в кричащем и загадочном противоречии с его мрачным и умным лицом. От него не отставал его еще более забавный товарищ—Моисей Гулд. Это был превеселый щенок на коротеньких ножках—в ярко-красном шикарном галстуке. В нем сказывалась его собачья натура; как бы он ни вилял хвостом, как бы ни прыгал, черные глазки по обеим сторонам его длинного носа сверкали мрачно, как две черные пуговицы. Там же находилась мисс Розамунда Хант, в той же белой изящной шляпе, обрамлявшей ее широкое и доброе лицо, как всегда, нарядная, точно она собиралась в гости. Если у мистера Муна был компаньон, то у мисс Хант была компаньонка, стройная молодая женщина, облаченная в темно-серое платье, лицо новое в нашем рассказе, но в действительности старинный друг и протезе Розамунды. В ней не было ничего замечательного—ничего, кроме роскошных, тяжелых темно-рыжих волос, придававших ее бледному лицу остроконечную треугольную форму. Чертами лица она напоминала красавиц времен королевы Елизаветы с опущенными долу головными уборами и широкими роскошными фижмами. Фамилия ее была, кажется, Грэй, а мисс Хант звала ее попросту Мэри; Розамунда обращалась с ней, как со старой служанкой, которая стала понемногу подругой. Серебряный крестик висел у нее на груди—на будничной серой блузе; изо всех жильцов она одна ходила по праздникам в церковь.

Последней по порядку (но отнюдь не по значению) была Диана Дьюк. Пристально изучала она новоявленного гостя стальными глазами и внимательно прислушивалась к каждому его слову. Что же касается миссис

Дьюк, она просто улыбалась, не думая слушать. В сущности она в своей жизни никогда и никого не слушала, чем, по мнению некоторых, и объясняется то, что она до сих пор не погибла.

Все же миссис Дьюк была приятно польщена вниманием к ней нового гостя; еще ни один человек не разговаривал с нею серьезно; и она серьезно еще никого не выслушивала. Лицо ее просияло, когда незнакомец, широко и плавно махая чемоданом и огромнейшей шляпой, начал извиняться перед нею, что он вошел в ее сад необычным путем: не калиткой, а через забор. Он объяснял это несчастной семейной традицией—привычкой к чистоте и аккуратности.

— Говоря по совести, матушка моя,—объяснял он, понизив голос,—была даже слишком строга по этой части. Она очень сердилась, когда я терял в школе фуражку. Если человека приучить к чистоте и аккуратности, эта привычка прилипает к нему на всю жизнь...

Еле слышным голосом миссис Дьюк пролепетала в ответ, что у него, она уверена, была прекрасная мать; но племянница ее, видимо, не удовлетворилась его объяснениями.

— Странное у вас понятие о чистоте,—сказала она,—прыгать через забор, лазать по деревьям, какая же это чистота! Трудно взобраться на дерево чисто.

— Ну, стену-то он, однако, перелезает чистехонько! — заметил Майкэл Мун.—Я видел своими глазами.

Смит воззрился на девушку с неподдельным удивлением.

— Милая милэди, — сказал он, — я именно чистил дерево. Ни для прошлогодних листьев, ни для прошлогодних шляп на дереве не должно быть места.

Прошлогодние листья будут очищены ветром, но с прошлогодной шляпой никакому ветру не справиться. Сегодняшний ветер, я думаю, мог бы очистить целые леса от листьев. Странная идея, будто чистота—тихое, спокойное понятие,—нет, чистота—это работа гигантов. Вы не можете чистить, не пачкаясь. Посмотрите, например, на мои брюки. Неужели вы не знаете этого? Неужели каждую весну вы не производите генеральной чистки?

— О да, сэр,—быстро подхватила миссис Дьюк,— в этом смысле вы найдете у нас все в полном порядке!

Наконец-то услышала она такие слова, которые были ей понятны вполне!

Мисс Диана Дьюк, казалось, изучала незнакомца с каким-то торопливым расчетом, после чего в ее черных глазах засверкала решимость, и девушка объявила ему, что он может, если угодно, занять отдельную комнату в верхнем этаже. А молчаливый и деликатный Инглвуд был, как на иголках, во время всех этих переговоров и немедленно вызвался показать незнакомцу его комнату. Смит взобрался по лестнице, шагая через четыре ступени, и, когда на самом верху он ударился головой о потолок, Инглвуду стало почему-то казаться, будто высокий дом гораздо ниже, чем был до сих пор.

Инглвуд шел вслед за своим старым, или, может быть, новым другом,—он в точности не знал, за кем идет. Гость временами удивительно напоминал ему старого школьного товарища, а временами, казалось, не имел с ним никакого сходства. И когда Инглвуд, не смотря на природный такт, все же решился, наконец, задать вопрос:—Ваша фамилия Смит?—то получил на это довольно неопределенный ответ:

— Браво, браво! Очень хорошо! Прекрасно!

Инглвуд после некоторого раздумья решил про себя, что ответ этот более уместен в устах новорожденного младенца, только что получившего имя, чем в устах взрослого, отвечающего на вопрос, как его зовут.

Так и не удалось злополучному Инглвуду узнать, был ли незнакомец его школьным товарищем. И все же он пошел за незнакомцем в его комнату. Тот стал выбрасывать свои вещи из чемодана, а Инглвуд остановился в нерешительности на пороге, не зная, нужна ли Смиту его помощь, или нет. Еще раньше, когда Смит взбирался на дерево, Инглвуда поразила свойственная Смиту буйная аккуратность. Теперь эта буйная аккуратность снова бросилась Инглвуду в глаза. Выбрасывая вещи из чемодана, словно то были негодные тряпки, он, однако, старался расположить их на полу правильной фигурой вокруг себя.

При этом он продолжал без умолку выкрикивать отрывистые, бессвязные фразы, словно у него не хватало дыхания. Правда, он только что избежал на высокую лестницу, отмеривая по четыре ступеньки за раз, но и без этого его речь всегда была пестрой цепью значительных, и незначительных, но чаще всего разрозненных образов.

— Словно день страшного суда!— говорил он, бросая какую-то бутылку так, что она покачалась и встала как следует.— Говорят, вселенная обширна... беспредельность и астрономия... едва ли... Я же думаю, предметы слишком близки... тесно упакованы... для путешествия... например, звезды в большой тесноте... Солнце—звезда слишком близкая, и потому нельзя ее разглядеть... а звезда земля так близка, что ее и совсем не видно... слишком много камушков на взморьи... следует все разложить кружками, кружками... слишком много былинки травы,

и потому их нельзя изучить... перья птицы вызывают головокружение... подождите, пока будет выгружен большой чемодан... тогда все окажется в настоящем порядке.

Он замолк, чтобы перевести дух, и бросил рубашку из одного конца комнаты в другой, а вслед за ней бутылку чернил, так что она упала как раз рядом с рубашкой. Странный полу-симметричный беспорядок в комнате поразил Инглвуда; юноша озирался кругом с возрастающим недоумением.

И действительно, немного можно было почерпнуть из обзора дорожного багажа Смита. Одна особенность, впрочем, бросалась в глаза; все вещи здесь служили не тем надобностям, для которых были предназначены; всё, что для других имело второстепенное значение, было для Смита на первом плане, и наоборот. Крынка или сковорода могли быть завернуты в коричневую бумагу, и случайный наблюдатель с удивлением заметил бы, что эта крынка Смиту нисколько не нужна, а коричневая бумага представляет для него великую ценность. Он извлек из чемодана два или три ящика сигар и с откровенным простодушием пояснил, что сам он некурящий, но сигарные коробки — незаменимый материал для выпиливания. Потом он достал из чемодана шесть маленьких бутылок вина, белого и красного. Инглвуд разглядел между ними одну бутылку чудесного Волнэ и заключил, что незнакомец — эпикур по виноградной части. Каково же было его удивление, когда следующая бутылка оказалась дешевеньким, скверным *колонийным* кларетом, какого не пьют даже обитатели колоний (что, кстати, делает им честь). И только тогда заметил он, что все бутылки запечатаны разноцветными металлическими печатями и, казалось, подобраны исклю-

чительно так, чтобы дать три главных и три дополнительных краски: красную, синюю, желтую; зеленую, фиолетовую, оранжевую. Инглвуд с каким-то жутким чувством начал понимать, что перед ним, воистину, ребенок. Смит, действительно, был младенцем—насколько это возможно в пределах человеческой психики, и все чувства его были детские: он с жадностью выпиливал по дереву, словно разрезывал сладкий пирог. Вино в глазах этого человека не являлось сомнительной влагой, которую можно либо порицать, либо хвалить. Для него это был ярко окрашенный сироп, и он любовался им так же, как любят им дети, стоя перед витриной магазина. Он разговаривал властным тоном и протискивался всюду на первое место, но это не было самоутверждением современного сверхчеловека. Просто он забывался, как забываются маленькие дети в гостях. Казалось, он совершил гигантский прыжок из детства в зрелость, пропустив тот период молодости, когда большая часть людей становится взрослыми.

Он повернул свой громадный чемодан. Артур заметил на одной стороне инициалы И. С. и вспомнил, что его товарища Смита звали Инносент Смит. К сожалению, Артур забыл, было ли это настоящее, христианское имя или только прозвище, характеризующее душевные качества ¹⁾. Он собрался было задать Смицу новый вопрос, как раздался внезапно стук в дверь, и на пороге показалась плюгавая фигурка мистера Гулда. А за спиной у Гулда стоял угрюмый Мун, точно его длинная, искривленная тень. Любопытство и стадное чувство заставили их войти в эту комнату.

¹⁾ Игра слов, на которой основан весь сюжет. Инносент имеет по-английски два значения: Иннокентий и невинный.

— Надеюсь, я не помешал,—с добродушной улыбкой, но без намека на извинение, сказал Моисей.

— Дело в том,—сравнительно любезно заметил Майкэл Мун,—что мы хотели взглянуть, удобно ли они вас устроили. Мисс Дьюк иногда...

— Я знаю!—вскричал незнакомец и взглянул на них блестящими глазами.—Она бывает величественна; подойдите к ней, и вы услышите военную музыку... точно Жанна д'Арк.

Инглвуд онемел и уставился на говорившего с видом человека, только что услышавшего дикую сказку, которая все же содержит в себе некую забытую истину. Он вспомнил, что и сам подумал про Жанну д'Арк много лет тому назад, когда, чуть не со школьной скамьи, впервые появился в этом доме. Но давно уже всераспыляющий рационализм его друга, доктора Уорнера, сокрушил в нем следы таких юношеских непропорциональных мечтаний. Под влиянием Уорнерова скептицизма и учения «о сильном человеке» Инглвуд с давних пор привык считать себя робким, неприспособленным, слабым и думал, что ему не суждено жениться; Диана Дьюк в его глазах стала просто необходимой прислужницей, а о прежнем увлечении он вспоминал, как о маленькой шалости школьника, поцеловавшего дочку квартирной хозяйки. Однако фраза о военной музыке странным образом задела его: точно он услышал вдалеке барабан.

— Она поневоле должна быть сурова, это вполне естественно,—сказал Мун, оглядывая крошечную комнату с клинообразным скошенным потолком, похожую на остроконечный колпак карлика.

— Пожалуй, конура для вас слишком мала, сэр,—заметил игривый мистер Гулд.

— Прекрасная комната!—последовал восторженный ответ, и Смит нырнул головой в чемодан.—Я люблю остроконечные комнаты, точно готические... Кстати, — вскричал он, встрепенувшись, — куда ведет эта дверь?

— К верной смерти, я полагаю,—ответил Майкэл Мун и взглянул на пыльную, заржавленную дверь в покато́й крыше.—Не думаю, чтобы там был чердак, и не могу придумать, куда она может вести.

Не дожидаясь конца этой сентенции, человек на крепких зеленых ногах подскочил к потолочной двери, примостился кое-как на выступе стены, с большим усилием распахнул дверь настежь и пролез в нее. Две символические ноги, словно обломки статуи, мелькнули на миг в воздухе; потом и они исчезли. В отверстии крыши показалось ясное, лучезарное вечернее небо и одно большое разноцветное облако, плывущее в воздухе, как целое графство, перевернутое вверх ногами.

— Эй, вы! — донесся издалека голос Смита, по-видимому, с отдаленной башни.—Ступайте сюда! И захватите чего-нибудь там у меня, чтобы выпить и закусить наверху. Здесь можно устроить чудесный пикник!

Майкэл живо схватил дюжими руками две маленьких бутылки вина, по одной в каждый кулак. Артур Инглвуд, как загипнотизированный, нащупал коробку с бисквитами и большую кружку имбирного кваса. Огромная рука Инносента Смита протянулась в отверстие, рука гиганта из детской сказки, приняла эти подношения и унесла их к себе в орлиное гнездо; затем Инглвуд и Майкэл вылезли в чердачное окно. Оба они были атлеты и даже гимнасты,—Инглвуд из любви к гигиене, а Мун из любви к спорту. И когда разверзлась дверь на крышу, у обоих мелькнуло светлое, еле уловимое чув-

ство, точно дверь вела на небо и теперь они могут взобраться на крышу вселенной. Оба бессознательно прожили долгое время в тисках обыденного, хотя один из них и относился к обыденному слишком серьезно, а другой слишком весело. Но оба были из тех людей, в которых никогда не умирают сантименты. Мистер Моисей Гулд, однако, отнесся с одинаковым презрением и к смертоносной атлетике, и к подсознательному трансцендентализму своих друзей. Он стоял внизу и бесцеремонно посмеивался, с бесстыдным рационализмом другой расы.

Когда удивительный Смит, сидя верхом на дымовой трубе, увидел, что Гулд остался внизу, он добродушно, с детской услужливостью кинулся обратно в мансарду утешить одинокого или уговорить его подняться на крышу. Инглвуд и Мун остались тем временем одни на длинном серо-зеленом коньке сланцевой крыши, их ноги опирались о жолоб; прислонившись к трубе, они взглянули с изумлением друг на друга. Первым ощущением их было, что они отошли в вечность и что вечность—чепуха, неразбериха. Кому-то из них пришло в голову, что они находятся в сиянии светлого и лучезарного неведения, которое было началом всех верований. Пространство над ними было полно мифологией; небо так глубоко, что могло вместить всех богов. Эфирный круг постепенно переходил из зеленого в желтый, как большой, недозрелый плод. Всё вокруг заходящего солнца золотилось, как лимон, восток еще зеленел, как юная слива, и всё окружающее еще хранило пустоту дневного света и чуждалось тайны сумерек. Там и сям на бледно-зеленом и золотом фоне виднелись отдельные полосы и рассеченные глыбы черно-пурпурных туч; казалось, что они падают на землю в какой-то колоссальной пер-

спективе. Одна туча неслась, точно ее отринуло небо: многокоронная, многобордая, многокрылая ассирийская фигура головою вниз—лже-иегова и, кажется, сам сатана. Остальные тучи были кривые, зубчатые—словно чертоги сверженного ангела, сброшенные вслед за ним.

И вот, когда опустелое небо было полно безмолвной катастрофой, вышки тех человеческих домов, над которыми сидели Инглвуд и Мун, стали улавливать слабые обыденные звуки земли, которые были антитезою неба. Люди услышали крик газетчика, раздававшийся улиц за шесть, и колокольный звон, зовущий в храм. Они уловили также разговор в саду и поняли, что неугомонный Смит последовал вниз за Гулдом; оттуда доносился его звонкий, кого-то убеждающий голос. Потом донеслись слегка насмешливые ответы мисс Дьюк и открытый, очень молодой смех Розамунды Хант. Воздух, как бывает только после бури, был свеж, но мягок. Майкэл Мун пил его такими же жадными глотками, как перед этим—бутылку дешевого кларета, которую опорожнил чуть не залпом. Инглвуд продолжал поглощать имбирный квас медленно и торжественно, в гармонии с высью небес. В свежем воздухе все еще было большое движение. Людям казалось, будто к ним доносится из сада запах земли и последних осенних роз. Внезапно долетели до них из темневшего сада серебряные переливчатые звуки: Розамунда принесла туда давно забытую мандолину. После первых двух-трех аккордов снова слышались далекие колокольчики смеха.

— Инглвуд! — произнес Майкэл Мун, — слышали вы когда-нибудь, что я мошенник?

— Не слыхал и не верю! — ответил после странной паузы Инглвуд. — Но я слышал, что у вас... как бы сказать? — голова не совсем в порядке... Вы человек дикий...

— Если вы слышали, что я дикий, можете опровергнуть эти слухи,—с необычайным спокойствием сказал Майкэл Мун.— Я ручной. Я самое ручное пресмыкающееся. Ежедневно в один и тот же час я напиваюсь виски—одного и того же сорта. И даже напиваюсь всегда до одной и той же черты. Я хожу в одни и те же кабаки. В кабаках я встречаю одних и тех же погибших покрашенных женщин. Я выслушиваю одно и то же количество одних и тех же неприличных анекдотов,—неприличные анекдоты всегда одни и те же. Вы можете успокоить моих знакомых, Инглвуд, вы видите перед собой человека, окончательно прирученного цивилизацией.

Артур Инглвуд уставился на него с таким чувством, что чуть не упал с крыши: на хмуром лице у ирландца появилось что-то сатанинское.

— Суди ее бог!—вскричал Мун, внезапно схватив пустую бутылку.—Это самая дрянная бутылка вина, которую мне когда-либо приходилось откупоривать! И все же за девять лет это первое вино, которое я пил с наслаждением. Я не был дикарем до сих пор, я сделался дикарем в эти десять минут! И он, размахнувшись, бросил бутылку. Она закружилась, пролетела над садом и упала далеко на дорогу. В глубоком вечернем безмолвии слышно было, как она звякнула на улице о камни мостовой.

— Мун,—сказал Артур Инглвуд,—вы не должны так отчаиваться. Каждый должен брать жизнь, какова она есть. Правда, некоторые находят ее мрачной...

— Но не этот молодец,—прервал Майкэл Мун.— Я понимаю Смита. Я уверен, что в его безумии есть система. Так и кажется, что он может вступить в сказочную страну, стоит ему только сделать шаг в сторону

от гладкой дороги. Кто бы подумал об этом ходе на крышу? Кому бы пришло в голову, что дрянной, дешевый кларет может казаться очень вкусным здесь, на этой крыше, среди труб? Может быть, это и есть подлинный ключ к волшебному царству. Может быть, поганые, дешевые папироски Гулда надо курить только на ходулях или как-нибудь в этом роде. Может быть, холодная баранья нога, которою потчует нас миссис Дьюк, покажется очень аппетитной тому, кто сидит на вершине дерева. Может, даже мое грязное, монотонное пьянство...

— Не судите себя слишком строго,—с неподдельной скорбью промолвил Инглвуд.—Жизнь тосклива не по вашей вине, и виски тут не при чем. И те, кто не пьет, вот как я, например, не меньше вас чувствуют, как все на свете крах и неудача. Так уж устроен мир; выживают сильнейшие... Например, доктор Уорнер... А некоторым, вроде меня, суждено застенеть на одном месте. Вы не в силах бороться со своим темпераментом; я знаю, вы значительно умнее меня, однако вы не в силах сойти с обычной пошлой дороги мелкой литературной сошки, так же, как и я не в силах побороть в себе сомнений и беспомощности маленькой ученой козявки. Так же, как рыба не может не плавать и папоротник не может не расти! Человечество, как метко выразился Уорнер в одной своей лекции, в действительности состоит из совершенно различных видов животных, укрывшихся под человеческой личиной.

Доносившееся снизу жужжанье разговора внезапно оборвалось звуком мандолины мисс Хант. Бойко начала она наигрывать какой-то вульгарный, но задорный мотив.

Голос Розамунды, глубокий и сильный, пропел слова глупой модной песни:

Негры поют песню на старой плантации,
Поют ее, как певали и мы в давно миновавшие дни.

Романтическая песня катилась к ним руладами, а Инглвуд все более и более углублялся в свою проповедь смирения и покорности. Все мягче и грустнее становились его глаза. Но синие глаза Майкэла Муна загорелись, сверкнули ярким пламенем, непонятным Инглвуду. Многие века, многие города и долины были бы счастливы, если бы Инглвуд и его земляки могли понять этот блеск или хоть раз догадаться, что блеск этот — боевая звезда Ирландии.

— И ничто не может изменить этот закон. Он вложен в колеса вселенной, — тихим голосом продолжал Инглвуд. — Одни слабы, другие сидьны; все, что мы можем сделать — это признать нашу слабость. Я влюблялся много раз, но из этого ничего не вышло. Я всегда помнил свое непостоянство. У меня созревали убеждения, но я не имел духу провозглашать их, так как я слишком часто менял их. В этом вся соль, мой милый. Мы не верим себе, вот и все, с этим ничего не поделаешь.

Майкэл вскочил на ноги и замер в опасной позе, словно черная статуя на цоколе, стараясь сохранить равновесие у самого края крыши. Громадные туч позади него — нестерпимо красного цвета — медленно и беспорядочно блуждали в молчаливой анархии неба. От этого головокружительного вращения туч поза Майкэла казалась еще более опасной.

— Давайте... — сказал он и вдруг замолчал.

— Давайте... что? — спросил Инглвуд, поднявшись так же быстро, но все же осторожнее; его приятель, казалось, затруднялся выразить свою мысль.

— Идем и сделаем что-нибудь такое, чего мы не можем сделать, — сказал Мун.

В тот же миг в отверстии показались встрепанные, как у какаду, волосы и свежее лицо Инносента Смита. Он приглашал их сойти вниз, так как «концерт» в полном разгаре и мистер Моисей Гулд согласился прочесть «Молодого Лохинвара».

Спустившись вниз, в мансарду Инносента, они чуть не споткнулись о весьма забавные преграды, расставленные в ней. Усеянный вещами пол комнаты вызвал в мозгу Инглвуда представление о детской. Тем более был он удивлен и даже испуган, когда взгляд его упал на длинный, гладко полированный американский револьвер.

— Ого!—вскричал он, отскочив от стального ствола, как от змеи. — Неужели вы боитесь налетчиков? Когда и кому, и за какие грехи готовите вы смерть из этого оружия?

— Ах, это! — сказал Смит, взглянув на револьвер. — Я готовлю не смерть, но жизни!

И он вприпрыжку побежал по лестнице вниз.

Глава III

ЗНАМЯ МАЯКА

Сумасбродное настроение царило на следующий день в доме «Маяк», точно каждый праздновал день своего рождения. О законах принято говорить, как о чем-то холодном и стеснительном. На самом же деле только в диком порыве, обезумев и опьянев от свободы, люди могут создавать законы. Когда люди утомлены, они впадают в анархию; когда они сильны и жизнерадостны, они неизменно создают ограничения и правила. Эта истина верна для всех церквей и республик, какие только

существовали в истории; верна она также и для всякой тривиальной, салонной забавы и для самой незатейливой сельской игры в горелки. Мы невольники до тех пор, пока закон не дает нам воли. Свободы нет, пока она не провозглашена властью. И даже власть арлекина Смита была все-таки властью, потому что он создал повсюду множество сумбурных постановлений и правил. Он заразил всех своей полубезумной активностью, но не в разрушении старого проявлялась она, а скорее в созидании нового, в головокружительном и неустойчивом творчестве. Из песенок Розамунды выросла целая опера. Из острот и анекдотов Муна вырос толстый журнал. Тщетно боролся застенчивый и ошеломленный Артур Инглвуд со своим все растущим значением. Он ясно сознавал, что, помимо его воли, его фотографические снимки превращаются в картинную галерею, а велосипед в джимкану¹⁾. Ни у кого не было времени оспаривать все эти неожиданные положения и занятия, ибо они следовали одно за другим так стремительно, как доводы захлебывающегося оратора.

Совместная жизнь с этим человеком представляла из себя скачку с препятствиями, но препятствия были приятны. Из простого предмета домашнего обихода мог он, точно кудесник, развернуть клубки волшебных приключений. Трудно представить себе более скромное и безличное увлечение, чем пристрастие бедного Артура к фотографии. Нелепый Смит взялся помогать ему, и на свет божий явилась «Фотография Души», как результат нескольких утренних совместных сеансов. В скором времени раскинула она свою сеть по всему пансиону.

¹⁾ Джимкана—слово англо-индусского происхождения: съезд атлетов или вообще спортсменов.

Собственно говоря, «Фотография Души» была только вариацией известной фотографической шутки: двойного изображения одного и того же лица на одном снимке: человека, играющего с самим собой в шахматы, обедающего с самим собою, и так далее. Но пластинки Смита были мистичнее, глубже. Таким, например, был снимок: «*Мисс Хант забывает себя самое*», на котором эта лэди глядит на себя самое, точно на незнакомую женщину, которую она никогда до сих пор не встречала. Снимок «*Мистер Мун задает себе вопросы*» изображал мистера Муна, который доведен до белого каления строгим перекрестным допросом, производившимся им самим. При чем тот мистер Мун, который допрашивал мистера Муна, с чисто зверской насмешливостью указывал длинным указательным пальцем на самого себя. Исключительным успехом пользовалась трилогия: «*Инглвуд, узнающий Инглвуда*»; «*Инглвуд, падающий ниц перед Инглвудом*», и «*Инглвуд, жестоко избивающий Инглвуда зонтиком*». Смит решил увеличить эти три снимка и поместить их наподобие фрески в вестибюле со следующей надписью:

Самоуважение, Самопознание, Самокритика—
Этой тройцы достаточно, чтобы сделать человека
спесивцем ¹⁾).

Что могло быть более прозаичным и серым, чем хозяйственная энергия мисс Дьюк? Но Инносент вдруг сделал блестящее открытие, благодаря которому Диана могла соединить экономию в костюмах с желанием быть нарядно одетой, единственным проявлением женственности, оставшимся у нее. Основываясь на этом, он

¹⁾ Стихи Теннисона.

заразил ее теорией (в которую, кажется, верил и сам), что женщины легко могут соединить экономию в одежде с великолепием, если будут рисовать цветными карандашами легкие узоры на самых незатейливых платьях, а затем снова стирать их. С помощью двух ширм, картонной вывески, коробки мягких разноцветных мелков он учредил «Компанию Смита для молниеносного производства одежды», а мисс Диана предоставила ему даже какую-то поношенную накидку или старую рабочую блузу для усовершенствования в портняжном искусстве. В один миг он соорудил ей костюм, украшенный красными и золотыми подсолнухами. В этом костюме она сделалась похожа на королеву. Несколько часов спустя Артур Инглвуд, чистивший свой велосипед (с обычным видом придавленного велосипедом человека), поднял голову, и раскрасневшееся лицо его раскраснелось еще более, потому что Диана стояла у входных дверей и смеялась, а черное платье ее было богато-разрисовано пурпурно-зелеными декоративными павлинами, разгуливавшими в таинственном саду из «Тысячи и одной ночи». Неясная тоска, мучительная, сладкая, словно старинная рапира, пронзила его сердце. Артур вспомнил, какой красавицей казалась ему Диана в те годы, когда он влюблялся во всех женщин без разбора. Но это было воспоминание далекое, как поклонение какой-нибудь вавилонской принцессе в премирном существовании. Когда он взглянул на нее снова (точно ожидая того, что случится), красные и зеленые узоры исчезли, и она торопливо прошла мимо него в будничном рабочем костюме.

Миссис Дьюк, как и следовало ожидать, не могла активно противостоять этому вторжению, перевернувшему весь дом ее вверх дном. Опытный наблюдатель

заметил бы, однако, что переворот даже нравился ей. Она была одной из тех женщин, которые видят во всех без исключения мужчинах безумных и диких животных. Она, по всей вероятности, находила пикники на крыше и малиновые подсолнухи Смита не более странными и необъяснимыми, чем химические опыты Инглвуда и насмешливые речи Муна. Но, с другой стороны, вежливость — качество общепонятное, а обращение с ней Смита было столь же вежливо, сколь и своеобразно. Она называла Смита «истинным джентльмэном», подразумевая под этим просто доброго человека, хотя, в сущности, это понятия разные. Она сидела за столом на председательском месте, сложив жирные руки, с жирной улыбкой, и целыми часами молчала в то время, как все остальные говорили за раз на самые разнообразные темы. Впрочем, молчала и компаньонка Розамунда, Мэри Грэй. Ее молчание было активно и страстно. Хотя она иногда не произносила ни слова, но вид у нее был постоянно такой, будто она собирается что-то сказать. В этом, возможно, и заключается назначение всякой компаньонки. Инно-сент кинулся, видимо, в новую авантюру, так же, как кидался в прежние. Он задался целью вовлечь ее в разговор. Это ему не удавалось, но он не отказался от задачи; он сумел привлечь общее внимание к этой спокойной фигуре и превратить ее застенчивость в загадочность. Если она была загадкой, то все должны были признать, что это была наивная, молодая загадка, как тайна весеннего неба и весеннего леса. Утренней пылкостью, свежими порывами юности отличалась она от двух других девушек, живущих в пансионе, хотя и была немного старше их. Всё пристальнее и пристальнее приглядывался к ней Смит. Ее глаза и губы были размещены неправильно, и все же казалось, что это так

и должно быть. Она обладала редким даром выражать все лицом. Ее молчание было как бы шумным и неустанным аплодисментом.

Но среди всех веселых затей этого праздника (который длился, казалось, не один день, а по крайней мере неделю) особенно выделилась одна затея—не тем, чтобы она была глупее или удачнее прочих, а тем, что последствием ее были все те необычайные события, которые будут описаны ниже. Все остальные затеи вспыхивали и мгновенно забывались. Все остальные замыслы не проводились в жизнь и замирали, как песни. Но цепь важных, поразительных явлений, выдвинувших на первый план кабриолет, сыщика, револьвер и брачное свидетельство, стала возможной только благодаря игре в Верховное Судилище «Маяк».

Изобрел эту игру не Инносент Смит, а Майкэл Мун. Мун все время находился в повышенном, восторженном состоянии духа. Он говорил без умолку; никогда с его уст не срывалось столько бесчеловечных сарказмов. Не даром он был некогда юристом. Все свои бесполезные знания в области юриспруденции он пустил теперь в ход и заявил, между прочим, что хорошо было бы создать Верховное Судилище «Маяк», которое явилось бы пародией на бессмысленную пышность английского судопроизводства. Верховное Судилище «Маяк», уверял он, могло бы служить прекрасным образчиком нашей мудрой и свободной конституции. Оно было основано, будто бы, еще при короле Иоанне—вопреки Великой Хартии Вольностей—и теперь в его бесконтрольном ведении находились ветряные мельницы, патенты на продажу питей, дамы, путешествующие по турецкой земле, пересмотры приговоров над похитителями болонок и отцеубийцами, а также—все приключения, которые

могут произойти в городе Маркет-Босуерсе¹⁾. По словам Майкэла Муна, все сто девять сенешалей Верховного Судилища «Маяк» заседали в полном составе только раз в четыре столетия; в промежутках же вся полнота власти передавалась в руки миссис Дьюк. Верховное Судилище, однако, под влиянием остальных членов общества не удержалось на своей исторической и юридической высоте, так как стало привлекаться для рассмотрения домашних дряг. Кто-нибудь пролил на скатерть соус,— Мун неукоснительно требовал, чтобы Судилище сотворило суд и расправу; без этого оно свелось бы на нет. Кто-нибудь требовал, чтобы окошко в зале оставалось закрытым, Мун настойчиво указывал, что только третий сын владельца усадьбы Пэндж имеет право открывать его. Члены Судилища дошли до того, что производили аресты и вели судебные следствия. Предполагавшийся процесс по обвинению Моисея Гулда в патриотизме висел уже у них над головами,—в частности, над головой обвиняемого; но процесс Инглвуда по обвинению в фотографическом пасквиле опередил и заслонил это громкое дело. Инглвуд был признан слабоумным и торжественно оправдан,—что в полной мере соответствовало лучшим традициям Судилища.

Когда Смитом овладевало безумие, он делался все серьезнее,—не то, что Мун, который в таких случаях становился все болтливее. Идея домашнего суда, брошенная Муном с легкомыслием политиканствующего юмориста, была подхвачена Смитом с жадностью отвлеченного мыслителя.

— Самое лучшее, что мы можем придумать,—объя-

¹⁾ Маркет-Босуерс—маленький город в Англии, имеющий не больше 700 жителей.

вил он,—это потребовать суверенных прав для каждого индивидуального хозяйства.

— Вы верите в гомрул для Ирландии; я верю в гомрул для семьи! ¹⁾ — заодно кричал он Муну.— Было бы лучше, если бы каждый отец имел право убивать своего сына, как в древнем Риме; это было бы несравненно лучше, — ведь тогда не было бы никаких убийств! Дом «Маяка» должен издать декларацию о Независимости. Мы можем вырастить в этом саду достаточно овощей, чтобы прокормиться. Сборщику податей, когда он заглянет к нам, мы заявим, что мы на самоснабжении, оставим его с носом и окатим его из пожарной кишки. Вы, пожалуй, возразите, что кишкой нельзя будет действовать, так как нас лишат водопровода; но мы можем вырыть колодезь и великолепно управиться с ведрами... Пусть этот дом станет и на самом деле «Маяком»! Зажжем у нас на крыше костер независимости! И вы увидите, как примкнут к нам дом за домом по всей долине Темзы! Учредим Лигу Свободных Семейств! Долой Местную Власть! К чорту Местный Патриотизм! Пусть каждый дом станет таким же суверенным государством, как мы! Пусть он собственным законом судит своих подданных, как мы их судим «Судом Маяка». Перережем цепь, которая держит наш корабль у берега. И начнем счастливо жить все вместе, как на необитаемом острове.

— Я знаю этот необитаемый остров!—сказал Майкэл Мун. — Он существует только в «Швейцарском Робинсоне». У человека сохнет горло от жажды—бух, падает неожиданно с неба кокосовый орех, сброшенный невидимой обезьяной. Писатель чувствует желание написать

¹⁾ Гомрул — самоуправление.

сонет, — кидается ему навстречу из чащи услужливый дикобраз и в ту же минуту роняет иглу из щетины.

— Не смейте издеваться над «Швейцарским Робинсоном», — разгорячился Инносент. — Может быть, в этой книге нет научной точности, зато есть истинная философия. Если вы на самом деле потерпели крушение, вы всегда найдете, что вам нужно! Если вы действительно попадете на пустынный остров, вы убедитесь, что он отнюдь не пустыня. Если б мы действительно были осаждены неприятелем в этом саду, мы нашли бы сотни птиц и ягод, о существовании которых мы и не подозреваем теперь. Если бы мы были занесены снегом в этой комнате, мы извлекли бы из книжного шкапа и прочитали бы много десятков томов, о которых сейчас не имеем никакого представления. Мы вели бы беседы друг с другом — прекрасные и страшные беседы, о которых теперь не догадываемся. Мы нашли бы здесь материал для всего: для крестин, для свадеб, для похорон; даже для коронации — если б мы не захотели стать республикой.

— Коронация в духе «Швейцарского Робинсона»! — засмеялся Мун. — Я знаю, в этой области вы, конечно, найдете здесь все, что угодно. Вам, положим, понадобится такая простая вещь, как коронационный балдахин, — стоит вам только дойти до клумбы с геранью, пред вашим взором предстанет балдахин в виде дерева в полном цвету. Понадобится вам такой пустяк, как золотая корона — чего проще! — вы срываете несколько одуванчиков, их целые золотые россыпи там за лужайкой. Понадобится вам для церемонии благовонное миро, — разверзаются небеса, страшный ливень смывает весь берег, и на поверхности остается кит, вот вам и готов притирательный жир.

— Кит и в самом деле находится тут, возле дома, знайте это!—прокричал Смит, ударив кулаком по столу.— Держу пари, что вы никогда как следует и не осмотрели вашего жилья. Держу пари, что вы ни разу даже и не заглянули на задний двор. А я пошел туда сегодня утром и нашел как раз все, что, по вашим словам, растет лишь на дереве. Там у сорного ящика лежит какая-то старая четырехугольная палатка; холст продырявлен в трех местах, один колышек сломан, так что в палатки она, пожалуй, уже не годится, а вот, как балдахин...

Ему не хватало даже слов, чтобы выразить, какой отличный будет балдахин. Погодя немного, он продолжал полемику с возрастающим жаром:—Вы видите, я разбираю по порядку все ваши возражения. Каждая мелочь, которой здесь, по вашему, нет, каждая, я уверен, давно уже здесь. Вы утверждаете, что вам нужен выброшенный бурей кит, чтобы добыть коронационного масла. Здесь вот, в этом судке, под вашим локтем, есть масло, но я убежден, что вы все эти годы ни разу не притронулись к судку, забыли даже думать о нем. А золотая корона... хотя все мы здесь и не очень богаты, мы, однако, были бы в состоянии достать из собственного кармана несколько монет по десять шиллингов, связать их веревочкой и на полчаса разместить вокруг чьей-нибудь головы. Или один из золотых обручей мисс Хант... Он достаточно велик, чтобы...

Добродушная Розамунда задыхалась от смеха.

— Не все то золото, что блестит,—заметила она.— Да кроме того...

— Какое заблуждение!—в сильном волнении прокричал Смит и вскочил с места.—Все, что блестит, золото—именно теперь, когда мы стали независимым штатом.

В чем же значение суверенного штата, когда вы не можете установить стоимости золотого червонца? ¹⁾ Мы, как первобытные люди на заре мира, можем все назвать драгоценным металлом. Те выбрали золото не потому, что оно редко; ваши ученые могут назвать вам много десятков сортов минералов более редких, чем золото. Нет, они выбрали золото, потому что оно блестит. Золото трудно найти; но зато оно красиво, когда найдено! Нельзя воевать золотыми мечами или питаться золотыми бисквитами. Можно лишь глядеть на него, вы можете глядеть на него и здесь!

Одним из своих порывистых движений он отскочил назад и распахнул настежь двери в сад. И в то же время одним из тех жестов, которые никогда в первый момент не казались такими нелепыми, какими они были в действительности, он протянул руку Мэри Грэй и увлек ее с собою в сад, как будто к какому-то танцу.

В раскрытое французское окно к ним проник вечер, еще прекраснее, чем накануне. Запад пылал кровавыми красками, и дремавшее пламя залило луг. Дрожащие тени двух-трех деревьев в саду казались в этом блеске не черными и серыми, как днем, но арабесками, писанными ярко-фиолетовой тушью на золотых скрижалях востока. Солнечный закат казался праздничным, но все же таинственным заревом, и при свете его самые обыкновенные вещи своей окраской напоминали редкостные и причудливые предметы роскоши. Словно перья гигантских павлинов, отливали сланцы покатой крыши таинственной сине-зеленой радугой. Всеми оттенками темно-красных вин—цветами октября—пылали красно-коричневые кирпичи ограды. Солнце с искусством пиротехника

¹⁾ Игра слов: sovereign—означает и суверенный, и червонец.

зажгло каждый предмет особенным, по-своему расцвеченным пламенем. И венец языческого золота лег даже на бесцветные волосы Смита, когда он мчался по лужайке к откосу.

— Кому понадобилось бы золото,—кричал он между тем,—если бы оно не блестело? Разве нужен был бы нам черный червонец? На что нам черное полуденное солнце? Его заменила бы всякая черная пуговица. Разве вы не видите, что все в этом саду сверкает, как драгоценный камень? И не будете ли вы так любезны сказать мне, какого чорта можно еще требовать от драгоценности, кроме того, чтобы она имела вид драгоценности? Довольно покупать и продавать! Пора, наконец, смотреть! Раскройте глаза, и вы проснетесь в новом Иерусалиме! Все то золото, что блестит, потому что все, что блестит, золото.

Все то золото, что блестит—
Медная бляха и медный щит.
Золото льется вечерней порой
Над золотою рекой!
И желтая грязь, на земле разлитая.
Она вся—золотая!
Она вся—золотая!

Эти строки показались Розамунде забавными.

— Кто написал эти стихи?—спросила она.

— Их никто никогда не напишет,—ответил Смит и с разбега вскочил на откос.

— Собственно говоря,—сказала Розамунда Майкэлу Муну,—его не мешало бы отправить в желтый дом. Как вы думаете?

— Что?—довольно мрачно спросил Мун; его длинное смуглое лицо выделялось темным пятном на фоне солнечного заката. Случайно ли, или нарочно, но Мун

среди общего заразительного сумасбродства производил впечатление чего-то одинокого и даже враждебного.

— Я сказала только, что мистера Смита следовало бы отправить в дом для умалишенных,—повторила молодая лэди.

Продолговатое лицо Муна вытянулось, он, несомненно, ухмыльнулся.

— Нет,—сказал он,—я думаю этого делать не надо.

— Почему?—быстро спросила Розамунда.

— Потому что Смит находится там и теперь,—спокойным тоном произнес Майкэл Мун.—Разве вы не знаете?

— Чего?—воскликнула она, и голос ее оборвался. Лицо ирландца и его голос были убедительны. Темной фигурой и темными речами при этом солнечном блеске он похож был на дьявола в райском саду.

— Мне очень жаль,—продолжал он грубо-смирненным тоном,—правда, мы это замалчиваем, но я думал, что мы все по крайней мере знаем это.

— Знаем, что?

— Ну,—ответил Мун,—что дом «Маяк» не совсем обыкновенный дом. Дом без винтов, неправда ли? Инно-сент Смит—только доктор, явившийся к нам с визитом. Он приходит и лечит нас. И так как наши болезни большею частью печальны, он должен быть особенно весел. Здоровье, конечно, представляется нам чем-то необыкновенно эксцентричным. Скакать через стену, взбираться на деревья—вот его способ лечения.

— Перестаньте!—вспыхнула Розамунда.—Как смее вы утверждать, что я...

— Точно так же, как и я...—сказал Мун несколько мягче,—так же, как и все остальные. Разве вы не обратили внимания, что мисс Дьюк не может ни минуты

усидеть спокойно на месте? — общеизвестный признак! Не заметили вы разве, что Инглвуд постоянно моет руки? — доказанный симптом умственного расстройства. Я, несомненно, алкоголик...

— Этому я не верю, — видимо волнуясь, прервала его девушка. — Я слышала, что у вас есть дурные привычки...

— Все привычки — дурные привычки, — мертвенно-спокойно продолжал Мун. — Сумасшествие выражается не в буйстве, а в покорности; в том, что человек погружается в какую-нибудь грязную, ничтожную навязчивую идею и совершенно подчиняется ей. Ваш пункт помешательства — деньги, так как вы богатая наследница.

— Это ложь! — со злостью в голосе крикнула Розамунда. — Никогда в жизни я не думала о деньгах.

— Вы поступали хуже, — тихим голосом, но резко сказал Майкэл. — Вы предполагали, что другие думают о них. В каждом человеке, который знакомился с вами, вы видели только искателя денег. Вы не позволяли себе относиться к людям просто и быть вполне нормальной. Мы оба сумасшедшие. Так нам и надо.

— Вы грубиян! — произнесла Розамунда и побледнела, как полотно. — Неужели это правда?

Со всей утонченной интеллектуальной жестокостью, на которую только способен бунтующий кельт, Майкэл помолчал несколько секунд, затем отступил назад и проговорил с насмешливым поклоном:

— Не в буквальном смысле, конечно, но это истинная правда. Аллегория, если хотите. Общественная сатира.

— Ненавижу, презираю ваши сатиры! — вскричала Розамунда Хант. Как циклон, прорвался наружу весь ее сильный женский темперамент, в каждом ее слове слышалось желание уязвить.

— Презираю ваш крепкий табак, презираю ваше безделье и скверные манеры; ваши насмешки, ваш радикализм, ваше старое мятое платье, ваши грязные мизерные газетки, вашу жалкую неудачливость во всем. Называйте это снобизмом или как вам угодно, но я люблю жизнь, успех, хочу любоваться красивыми вещами и поступками. Вы меня не испугаете Диогеном; я предпочитаю Александра.

— *Victrix causa deae*...—изрек Майкэл; это замечание рассердило ее еще более; не поняв его значения, она вообразила, что это колкость ¹⁾.

— Ну, еще бы, вы знаете греческий! —сказала она с трогательной неточностью. — И все же вы недалеко с ним уехали.

И она углубилась в сад, догоняя исчезнувших Инносента и Мэри. Навстречу ей попался Инглвуд, он шел домой медленно—в глубоком раздумьи. Инглвуд был из тех людей, которые, обладая изрядным умом, совершенно лишены предприимчивости. Когда он входил из озаренного заходящим солнцем сада в окутанную сумеречным светом столовую, Диана Дьюк бесшумно вскочила с места и занялась уборкой стола. И все же Инглвуд успел увидеть на мгновение картину такую необычайную, что стоило бы щелкнуть аппаратом. Диана сидела перед неоконченной работой, опершись подбородком на руку, и смотрела прямо в окно, охваченная бездумным раздумьем.

— Вы заняты,—сказал Инглвуд, чувствуя странную неловкость от того, что он видел, и делая вид, что он ничего не заметил.

¹⁾ Испорченная цитата из Лукиана: «*Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni*» — «Победа была приятна богам, но поражение Катону». В своей цитате Майкэл заменил *богов—богиней*.

— Возможно, — вставила ледяным тоном Диана, — но я, право, не вижу, чем мы тут можем помочь.

— Но этот человек отпетый идиот, — в сердцах закричала Диана. — Я не желаю, чтобы моя милая гувернантка обвенчалась с болваном. Вы или кто-либо другой должны помешать этому. Мистер Инглвуд, вы — мужчина, пойдите и объявите им, что это невозможно.

— К сожалению, мне кажется, что это вполне выполнимо, — с подавленным видом ответил Инглвуд. — Я имею еще меньше прав на вмешательство в их дела, чем мисс Дьюк, не говоря уже о том, что у меня нет ее нравственной силы.

— Нравственной силы нет ни у кого из вас! — крикнула Розамунда, окончательно выходя из себя. — Лучше будет, если я обращусь за советом к кому-нибудь другому; мне кажется, я знаю, к кому, я знаю, кто мне поможет гораздо больше, чем вы... пусть он сварлив, но он во всяком случае мужчина, у него есть на плечах голова...

Она выбежала в сад; лицо у нее пылало, а ее зонтик завертелся, как огненное колесо.

В саду она увидела Майкэла. Он стоял под деревом, сгорбившись, как хищная птица, и смотрел через забор с гигантской трубкой в зубах. Даже суровость, написанная у него на лице, понравилась ей после дикой бессмыслицы всего происшедшего.

— Мне жаль, что я была так резка с вами, мистер Мун, — чистосердечно призналась она. — Я ненавидела вас за цинизм; но я хорошо наказана, теперь мне как раз нужен циник. Меня одолели сантименты — я сыта ими по горло. Все сошли с ума, мистер Мун, я хочу сказать, все, кроме циников. Этот маниак Смит хочет жениться на моей старинной подруге Мэри, и она... и она, кажется, ничего не имеет против.

Он внимательно выслушал ее и с невозмутимым видом продолжал курить. Видя это, она недовольно заметила:

— Я не шучу, там за оградой стоит экипаж мистера Смита. Он клянется, что сейчас отвезет ее к тетке, а сам поедет за разрешением на брак. Дайте мне какой-нибудь практический совет, мистер Мун.

Мистер Мун вынул трубку изо рта, с задумчивым видом продержал ее несколько секунд в руках, а затем швырнул в другой конец сада.

— Мой практический совет вот какой, — сказал он. — Пусть мистер Смит едет за разрешением, а вы попросите его взять заодно и второе разрешение — для меня с вами.

— Что такое? опять шутики! — воскликнула она. — Объясните, что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что Инносент Смит деловой человек, — с тяжеловесной точностью проговорил Мун. — Простой, практичный человек; человек дела; человек фактов и солнечного света. Двадцать добрых тонн кирпичей сбросил он мне на голову, и я рад констатировать, что они разбудили меня. Еще совсем недавно спали мы здесь, на этом самом лугу, и при таком же сиянии солнца. Мы дремали все эти пять лет, или около того, но теперь мы женимся, Розамунда, и я, право, не вижу, почему бы этот кэб...

— Нет, нет, — резко оборвала его Розамунда, — я отказываюсь понять, что вы такое городите.

— Ложь! — закричал Мун, подвигаясь к ней и сияя глазами. — Я всегда стою за ложь в обыкновенных случаях; но разве вы не видите, что в эту ночь лгать нельзя? Мы совершили путешествие в страну фактов, моя дорогая. Растущая трава, заходящее солнце, этот кэб у калитки — все это факты. Вы привыкли мучить

и успокаивать себя тем, что я гоняюсь за вашими деньгами и что я вас вовсе не люблю. Но если бы я стал сейчас доказывать вам, что я вас не люблю, вы не поверили бы мне, потому что в эту ночь в нашем саду царит правда.

— Пожалуй, что и так, мистер Мун,—более мягким тоном сказала Розамунда.

Взгляд больших синих магнетических глаз остановил ее.

— Разве мое имя Мун? — спросил он. — А ваше — Хант? Клянусь честью, они звучат в моих ушах дико и чуждо, как имена краснокожих индейцев! Точно ваше имя «Поплавок», а мое «Восходящее Солнце». Но настоящие имена наши Муж и Жена, как это было до тех пор, пока мы не заснули.

— Это нехорошо, — сказала Розамунда, и подлинные слезы заблестали у нее на глазах, — нельзя вернуться к тому, что было.

— Я могу вернуться ко всему на свете, — сказал Майкэл. — Могу и вас отнести у себя на плечах.

— Но, Майкэл, вы должны, право, остановиться и подумать, — серьезно возражала девушка. — Вы, конечно, можете вскружить мне голову и сбить меня с ног, но кончится это плачевно. В таких делах романтические порывы, вот как у мистера Смита, увлекают женщин — это правда. Как вы сказали, мы все говорим сегодня правду. Романтика увлекла бедную Мэри, увлекает она и меня, Майкэл. Но голый факт остается: неосторожные браки влекут за собой несчастья и разочарования. Вы приучили себя к пьянству и к тому подобным порокам, — я скоро постарею и стану дурнушкой.

— Неосторожные браки! — вскричал Майкэл. — Ради всего святого, скажите, где это вы видели, на небе или

на земле, осторожные браки? Это все равно, что толковать об осторожных самоубийствах! Я и вы—мы оба достаточно долго топтались друг около друга, а разве мы более уверены в себе, чем Смит и Мэри, которые только вчера встретились? Вы никогда не узнаете мужа до свадьбы. Несчастливы? Конечно, вы будете несчастны. Что вы такое, чорт вас возьми, чтобы не быть несчастной, как и мать, родившая вас? Разочарования? Конечно, вы разочаруетесь. Я, например, не рассчитываю, что буду до самой смерти таким же хорошим человеком, как в эту минуту. Я теперь вырос до пяти тысяч футов—целая башня, и все мои трубы трубят.

— Вы все это сознаете, — сказала Розамунда, — и все же хотите жениться на мне?

— Дорогая, но что же остается мне делать! — рассуждал ирландец. — Какое же другое занятие на земном шаре может избрать энергичный мужчина, как не жениться на вас? Разве существует другая альтернатива брака, кроме сна? Выбора нет, Розамунда. Или вы заключаете брак с богом, как монахини у нас в Ирландии, или с мужчиной, то-есть со мной. Единственный третий выход — жениться на себе, жить с собою, с собою, с собою — единственным компаньоном, который вечно и сам недоволен, и тебе внушает недовольство.

— Майкэл, — сказала мисс Хант почти нежно, — если вы не будете так много говорить, я, пожалуй, выйду за вас.

— Теперь не время говорить! — вскричал Майкэл Мун. — Теперь можно только петь. Не можете ли вы отыскать вашу мандолину, Розамунда?

— Пойдите и принесите ее, — повелительным тоном сказала Розамунда.

Пораженный мистер Мун постоял одну секунду, затем бросился бежать по лужайке, точно на ногах у него были крылатые сандалии из греческой сказки. Одним прыжком он перескакивал по три ярда. Но на расстоянии одного или двух ярдов от открытой веранды его летевшие ноги налились свинцом, как всегда. Он круто повернулся и, посвистывая, двинулся обратно.

В темной гостиной, вскоре после внезапного ухода рассерженной Розамунды (как успел разглядеть Мун), происходили чрезвычайные события. В этой простой и мрачной гостиной еще не бывало таких больших происшествий. Инглвуду почудилось, будто небо и земля поменялись местами, потолок стал морем, а пол усеян звездами. Нельзя передать словами, как это изумило его. Это всегда изумляет всех простодушных людей. Самый упорный женский стоицизм, и тот защищен от подобных событий лишь тончайшею перегородкой — не толще листа бумаги или стального листа. Это не значит, что женщины более податливы или более чувствительны. Нет. Самая безжалостная, жестокая женщина может заплакать, так же, как и самый женственный мужчина может отрастить себе бороду. Это только проявление пола и не свидетельствует ни о силе, ни о слабости. Но Артуру Инглвуду — юноше, не знающему женщин, — видеть плачущую Диану Дьюк было так же удивительно, как увидеть автомобиль, проливающий токи керосиновых слез.

Никогда впоследствии он не мог дать себе отчета (даже если бы его мужская скромность позволила ему это), к каким действиям с его стороны побудило его это происшествие. Он держал себя, как мужчины во время пожара в театре, то-есть не так, как мужчины воображают себе свое поведение в этих случаях, а так,

как они на самом деле себя ведут. В уме у него мелькнула какая-то почти забытая мысль: сейчас эта богатая девушка, являющаяся здесь единственным источником денег, уедет отсюда — и неизбежно явится судебный пристав, который опишет имущество! О своих последующих поступках он мог судить только по протесту, вызванному ими.

— Оставьте меня одну! Мистер Инглвуд, оставьте меня в покое; вы не поможете мне...

— Нет, я могу помочь вам, — с возрастающей уверенностью сказал Артур. — Могу, могу, могу...

— Но вы сами сказали, что вы гораздо слабее меня...

— Да, я действительно слабее вас, — ответил Артур. Его голос поднимался и дрожал. — Но не сейчас.

— Оставьте мои руки! — вскричала девушка. — Я не желаю, чтобы вы мною командовали.

В одном он был гораздо сильнее — в юморе. Юмор внезапно проснулся в нем, и, засмеявшись, он заметил девушке:

— Это с вашей стороны неблагородно. Вы великолепно знаете, что в продолжение всей моей жизни командовать будете вы. Вы могли бы подарить мужчине единственную минуту в его жизни, когда ему еще можно командовать.

Так же удивительно было слышать его смех, как и видеть ее слезы. Впервые за всю свою жизнь потеряла Диана всякую власть над собой.

— Вы хотите сказать, что намерены жениться на мне? — спросила она.

— Видите, кэб у крыльца! — вскричал Инглвуд. С бессознательной энергией сорвался он с места и распахнул настежь стеклянную дверь, выходящую в сад.

Когда он вел девушку под руку, они в первый раз заметили, что их сад и дом лежат на крутизне выше Лондона. И все же они чувствовали, что, хотя их жилище высится, открытое взорам, оно отрезано от всего мира, как сад, опоясанный высокой оградой на вершине одной из небесных башен.

Инглвуд мечтательно озирался кругом. С невыразимым наслаждением пожирала его темные глаза каждую мелочь. Впервые заметил он садовую решетку, заметил, что зубцы ее походили на пики и были выкрашены в синюю краску. Одна из этих синих пик погнулась, и острие свисло вбок; это рассмешило Инглвуда. Согнуть решетку казалось ему восхитительной и невинной забавой. Ему хотелось узнать, как это случилось, кто это сделал и где находится теперь тот забавник, который совершил это веселое дело.

Несколько шагов прошли они по этой огненной траве и вдруг увидели, что они не одни. Розамунда Хант и эксцентрический мистер Мун, которых они только что перед этим оставили в крайне мрачном состоянии духа, теперь стояли рядом на лужайке. В самых обыкновенных позах стояли они, и все же были похожи на героев романа.

— О, — заметила Диана, — что за чудесный воздух!

— Я знаю, — отозвалась Розамунда с неподдельным наслаждением, хотя ее слова звучали, как жалоба. — Этот воздух похож на то ужасное шипучее зелье, которым они опоили меня. О, сколько счастья дало мне оно!

— Нет, это выше всяких сравнений, — с глубоким вздохом отвечала Диана. — Здесь и холодно, и в то же время горишь, как в огне.

Безо всякой необходимости мистер Мун стал обмахиваться соломенной шляпой. Все чувствовали прилив пульсирующей, беспредметной воздушной энергии. Диана вздрогнула и, как распятая на кресте, вытянула длинные руки и застыла в этой судорожно-неподвижной позе. Майкэл стоял долгое время спокойно, с напряженными мускулами,—завертелся волчком и снова замер. Розамунда прошла по лужайке, притоптывая ногой, в такт какого-то беззвучного танца. Инглвуд осторожно прислонился к дереву и вдруг бессознательно схватился за ветку и стал трясти ее, точно в порыве вдохновения. Грандиозные силы мужчин, проявляющиеся в созидании высоких статуй и в могучих ударах войны, терзали и томили их тела. Хотя они стояли так тихо и мирно, эти силы бродили в их душах, словно батареи, заряженные животным магнетизмом.

— А теперь,—внезапно воскликнул Мун и протянул руки в обе стороны,—давайте танцевать вокруг этого куста.

— Вокруг какого куста?—спросила Розамунда, взглянув вокруг сияюще-сурово.

— Куста, которого здесь нет,—сказал Майкэл.

Полу-шутя схватились они за руки, словно выполняя какой-то обряд. Майкэл завертел их, как демон, пускающий кубарем земной шар. Диане казалось, что горизонт мгновенно завертелся вокруг нее, и она увидела над Лондоном какие-то цепи холмов и те уголки, где играла еще во младенчестве. Ей даже показалось, что слышно, как кричат грачи в старых соснах Хайгета, и видно, как светляки освещают леса Бокс-Хилла.

Круг распался, как всегда распадаются такие прекрасные непостоянные круги, и вышвырнул своего автора, Майкэла. Майкэл полетел, словно гонимый центробеж-

ною силою, и упал около синей решетки забора. Быстро вскочив на ноги, он огласил воздух отчаянными криками.

— Да ведь это Уорнер!—вопил Майкэл, всплеснув руками.—Это славный старый Уорнер в новом шелковом цилиндре и со старыми шелковыми усами!

— Да разве это доктор Уорнер?—вскрикнула Розамунда и двинулась вперед в порыве огорчения и радости.—О, как мне жаль! О, передайте ему, что все в порядке! Никакой беды не случилось.

— Возьмемся за руки и скажем ему это!—предложил Майкэл Мун. И действительно, у калитки во время этого разговора остановился другой кэб рядом с прежним, и доктор Герберт Уорнер осторожно спустился на тротуар, оставив в кэбе своего спутника.

Теперь вообразите себя, что вы известный врач, что вас вызвала богатая наследница к больному, охваченному припадками буйного безумия. И вот, проходя через сад того дома, где живет этот опасный больной, вы видите, что наследница, ее квартирная хозяйка и еще два джентльмэна, проживающие в пансионе, держат друг друга за руки, танцуют и окружают вас, не переставая выкрикивать: «Все в порядке! Все в порядке!» Естественно, вы имели бы полное право удивиться и даже почувствовать себя оскорбленным. Доктор Уорнер был невозмутимый, но обидчивый человек. Даже когда Мун объяснил ему, что он, Уорнер, солидный высокий мужчина в цилиндре, как раз и представляет из себя ту классическую колонну, вокруг которой должен танцевать хоровод смеющихся девушек на морском берегу где-нибудь в древней Греции, даже и тогда он, казалось, не мог уловить причину всеобщего веселья.

— Инглвуд!—повысил голос доктор Уорнер и вперил

удивленный взор в своего недавнего ученика.—Вы с ума сошли?

Артур покраснел до корней своих темных волос, но ответил все же свободно и довольно спокойно:

— Не теперь. Говоря правду, Уорнер, я только-что сделал очень важное научное открытие—прямо в вашем духе!

— Что вы хотите этим сказать?—сухо спросил знаменитый врач.—Что за открытие?

— Я убедился, что здоровье так же заразительно, как и болезнь,—ответил Артур.

— Да, здоровье вырвалось наружу и распространяется теперь повсеместно,—сказал Майкэл, задумчиво выполняя *pas seul*.—Еще двадцать тысяч человек доставлено в больницы. Сиделки сбились с ног. Работают день и ночь.

С безграничным удивлением уставился доктор Уорнер на Майкэла, изучая его мрачное лицо и быстро двигающиеся ноги.—*Это* и есть, смею спросить,—осведомился он,—то здоровье, которое распространяется теперь повсеместно?

— Простите меня, доктор Уорнер,—с жаром сказала Розамунда Хант.—Я знаю, я дурно поступила с вами, но, право, это не моя вина. Я была в отвратительнейшем настроении, когда посылала за вами,—но теперь мне все кажется сном, и—мистер Смит, прелестное, милейшее в мире создание, пусть он себе женится, на ком угодно... конечно, не на мне, а на ком угодно.

— Хотя бы на миссис Дьюк,—сказал Майкэл.

Серьезное лицо доктора Уорнера стало еще внушительнее. Не сводя пристально-спокойного взгляда бледно-синих глаз с лица Розамунды, вынул он из жилетного кармана клочок розовой бумаги. И заговорил с понятной суровостью:

— Говоря откровенно, мисс Хант, вы внушаете мне некоторую тревогу. Всего полчаса тому назад послали вы мне следующую телеграмму: «Приезжайте немедленно, если возможно, с другим врачом. Один господин, живущий у нас в доме, Инносент Смит, сошел с ума и совершает ужасные поступки. Не знаете ли вы чегонибудь о нем?» Я тотчас отправился к одному врачу, моему коллеге. Он выдающийся медик, но занимается также и частным сыском, так как является специалистом в области криминального сумасшествия. Он поехал со мною и ждет меня в кэбе. А вы со спокойным видом сообщаете мне теперь, что этот преступный безумец—прекраснейшее, разумнейшее существо на земле, и сопровождает это заявление такого рода поступками, которые дают мне основание сомневаться в правильности вашего представления о разуме. Я едва могу понять эту перемену.

— О, кто может понять изменения солнца, луны и души человеческой! —в отчаянии вскричала Розамунда.— О, мы сами были так безумны, что сочли его безумным лишь за то, что он захотел повенчаться. Мы даже не понимали, что все это произошло потому, что нам самим хотелось под венец. Мы приносим вам свои извинения, если вы желаете. Мы так счастливы...

— Где мистер Смит?—резким тоном спросил Уорнер Инглвуда.

Инглвуд опешил. Он совершенно забыл о существовании центральной фигуры всего этого фарса; Смит не показывался уже больше часа.

— Я... я думаю, он, верно, на том конце дома, где-нибудь у сорного ящика,—сказал он.

— Хотя бы даже по дороге в Россию, но,—сказал Уорнер,—он должен быть во что бы то ни стало найден

С этими словами доктор ушел и, обогнув подсолнечники, скрылся за углом дома.

— Надеюсь,—сказала Розамунда,—он не помешает мистеру Смиту.

— Помешать маргариткам! — Майкэл фыркнул. — Нельзя посадить человека за решетку лишь потому, что этот человек влюблен. По крайней мере надеюсь, что это невозможно.

— Нет. Я думаю, даже доктор не может создать из этого какой-нибудь недуг. Смит отшвырнет от себя и болезнь, и доктора. Я думаю, Инносент Смит есть действительно *инносент* ¹⁾, вот почему он такой необычайный, ошеломительно яркий.

Это говорила Розамунда, не переставая описывать круги по траве кончиком белой туфли.

— Я думаю,—сказал Инглвуд,—что в нем нет ничего необычайного. Он комичен именно потому, что поразительно банален, зауряден. Представьте себе тесный семейный круг с тетками и дядями, когда школьник возвращается домой на каникулы! Этот чемодан—там в кэбе—не что иное, как корзинка школьника. Это дерево в саду как раз для того и создано, чтобы школьник мог взлезть на него. Это нас поразило; мы не могли подыскать этому настоящего имени. Действительно ли он мой старый школьный товарищ, или нет—он олицетворение всех моих школьных товарищей, он—тот самый звереныш, какими все мы были в свое время, звереныш, беспрерывно играющий в мяч и беспрерывно жующий булку..

— Таковы только вы, безмозглые мальчишки,—сказала Диана,—я думаю, ни одна девочка не была так

¹⁾ Innocent—простодушный, наивный.

глупа, и я уверена, что ни одна не была так счастлива, как...

Она запнулась.

— Я скажу вам правду об Инносенте Смите,—про-
никновенным голосом начал Мун.—Доктор Уорнер на-
прасно будет искать его там. Его там нет. Разве вы
не заметили, что его никогда нет с нами, как только
мы собираемся вместе? Он — астральный младенец, ро-
жденный нами, нашими мечтами. Он — наша возродившаяся
юность. Задолго до того, как бедняга Уорнер вылез из
своего кэба, существо, которое мы называли Смитом,
растаяло в росе и воздухе этого сада. Еще раз или два
мы, по великой милости божией, ощутим его присут-
ствие, но человека Смита мы больше никогда не увидим.
Ранним весенним утром в саду будем мы вдыхать аро-
мат, имя которому Смит. В хрустении сухих сучьев,
сторающих на легком костре, нам послышится звук, и
звук этот—Смит. Во всем, что ненасытно и невинно,
в траве, которая жадно глотает землю, как ребенок,
пожирающий гостинцы, в белом утре, которое раскалы-
вает небо, как мальчик лучину,—во всем этом мы ощу-
тим присутствие буйной чистоты и невинности; но эта
невинность слишком близка к бессознательности неоду-
шевленных предметов. Простого прикосновения доста-
точно, чтобы она исчезла за зеленой оградой или в
пустыне небес. Инносент Смит...

Оглушительный выстрел, словно взрыв бомбы, раз-
дался позади дома и не дал Муну досказать свою мысль.
Почти одновременно из кэба, который стоял у ворот,
выскочил какой-то господин, и выскочил так энергично,
что кэб долго качался, как люлька. Господин схватился
за синюю решетку сада и устремил пристальный взор
по тому направлению, откуда раздался шум. Это был

человек невысокого роста, худощавый, живой, даже шустрый; его лицо было точно соткано из рыбьих костей, его цилиндр, столь же внушительный и великолепный, как цилиндр доктора Уорнера, был небрежно сдвинут на затылок.

— Караул! Убийство!—вскричал он тонким, женским, пронзительным голосом.—Остановите убийцу!

Одновременно с его возгласом второй выстрел потряс нижние окна дома, и доктор Герберт Уорнер убежал из-за угла. Он бежал вприпрыжку, как кролик. Не успел он добежать до стоявших в саду, как послышался третий выстрел. И все собственными глазами увидели две белые струйки дыма, поднимавшиеся кверху из несчастной шляпы доктора Герберта Уорнера. Улепетывавший врач споткнулся о цветочный горшок, упал и продолжал свой путь на четвереньках, выпучив глаза, как корова. Шляпа, дважды продырявленная пулями, катилась по дорожке перед ним. В тот же миг показался за углом Инносент Смит, мчавшийся с быстротой курьерского поезда. Он казался вдвое выше своего обычного роста—гигант в зеленом; в руке у него был дымившийся громадный револьвер, глаза горели, как звезды, желтые волосы торчали во все стороны, как у Степки-Растрепки. В полном безмолвии протекла эта ошеломляющая сцена и длилась не более секунды; все же Инглвуд успел уловить в себе снова то ощущение, которое он испытал раньше при виде влюбленных, стоявших на лужайке. Ощущение отчеканенной красочной ясности, более свойственной произведениям искусства, чем явлениям жизни. Разбитый цветочный горшок с ярко-красной геранью, зеленый облик Смита, черный Уорнер на фоне синей зубчатой решетки, судорожно сжимающие ее желтые ястребиные ногти незнакомца и длин-

ная ястребиная шея, вытянувшаяся вверх, над оградой; цилиндр, валявшийся тут же на песке, и маленькое облачко дыма, бегущее над садом—невинное, как дымок папиросы—все это было очерчено с неестественной четкостью. Все эти предметы существовали, как символы, в экстазе разъединения. Каждая мелочь становилась все более и более яркой и ценной по мере того, как вся картина раздроблялась на тысячу мелких кусков. Таким блеском сияют предметы перед тем, как взлететь на воздух.

Артур несколько подался вперед еще задолго до того, как пронеслись в нем эти ощущения, и схватил Смита за руку. Маленький незнакомец сорвался с места и в то же самое время схватил Смита за вторую руку. Смит разразился хохотом и с полной готовностью отдал им свой револьвер. Мун помог доктору подняться, затем отошел и с угрюмым видом прислонился к садовой решетке. Девушки держали себя спокойно и были настоящие, как обычно бывают хорошие женщины во время катастрофы. Однако было очевидно, что небесное сияние, озарявшее их лица, исчезло.

Доктор оправился, подняв шляпу, собрал свои мысли, с глубочайшим отвращением отряхнул пыль и обратился к ним с коротким извинением. От пережитого ужаса он был бел, как платок, но вполне владел собой.

— Извините нас, лэди,—проговорил он,—мой коллега и мистер Инглвуд—оба люди науки, хотя мы и работаем в разных областях. Я думаю, что будет удобнее увести мистера Смита в дом, а затем мы вернемся и побеседуем с вами.

И осторожно, под конвоем трех ученых, отведен был в дом обезоруженный, все еще хохочущий Смит.

Отдаленные раскаты его хохота доносились к ним

сквозь полуоткрытое окно в течение ближайших двадцати минут, но что говорили врачи, не было слышно. Девушки гуляли по саду, взаимно ободряя друг друга, поскольку это было в их силах. Майкэл Мун всей тяжестью своего тела навалился на решетку. По истечении этого времени доктор Уорнер снова вышел из дому; его лицо было менее бледно, но еще более строго. Маленький человечек с рыбьим лицом важно выступал позади. И если лицо Уорнера напоминало лицо судьи, выносящего смертный приговор, то лицо маленького человечка походило скорее на череп покойника.

— Мисс Хант,—заговорил Герберт Уорнер,—теперь я могу выразить вам мою горячую благодарность. Только благодаря вашей храбрости и вашей мудрости, благодаря тому, что вы вызвали нас по телеграфу, нам удалось захватить и обезвредить одного из самых жестоких и коварных врагов человечества. Этот преступник — воплощение самой очевидной и беспримерной жестокости.

Розамунда повернула к доктору свое побелевшее, искаженное страхом лицо и взглянула на него мигающими глазами.

— Что вы хотите сказать? — спросила она. — Неужели мистер Смит...

— У него много других имен, — серьезно проговорил доктор. — И каждое имя вызывает проклятия. Этот человек, мисс Хант, оставил за собой кровавый след. Безумец ли он, или просто злодей, это мы постараемся выяснить в интересах науки. Во всяком случае мы должны доставить его к судебному следователю — хотя бы по дороге в сумасшедший дом. Но тот сумасшедший дом, куда поместят его, должен быть окружен крепкой стеной, вокруг должны быть расставлены пушки, как

в крепости. Иначе он вырвется снова на волю и внесет в мир новое разрушение и новую тьму.

Розамунда смотрела на обоих докторов; лицо ее становилось все бледнее. Потом ее взор остановился на фигуре Майкэла Муна, прислонившегося к садовой калитке. Но Мун не изменил своей позы, а лицо его было обращено в сторону, на темнеющую дорогу.

Глава V

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ОБИДЫ И ШУТКИ

Сопутствовавший доктору Уорнеру специалист по уголовным делам при ближайшем рассмотрении оказался гораздо учтивее и даже веселее, чем можно было предположить с первого взгляда, когда он, судорожно сжимая решетку, просовывал шею в сад.

Обнаружилось, что без шляпы он куда моложавее; его белокурые волосы были посредине разделены пробором и тщательно завиты с боков; его движения были быстры; руки никогда не находили покоя. Щегольской монокль висел у него на черной, широкой ленте, а на груди у него красовался галстук—огромный бант—точно большая американская бабочка. Его костюм был мальчишески-ярок, жесты мальчишески-быстры, и только сплетенное из рыбьих костей лицо казалось угрюмым и старым. Манеры у него были прекрасные, но не вполне английские. Достаточно было увидеть его однажды, чтобы запомнить раз навсегда по двум характерным полусознательным жестам: он закрывал глаза, когда хотел быть изысканно-вежливым, и поднимал вверх два пальца, большой и указательный — точно держал

понюшку табаку — когда подыскивал слово или не решался произнести его. Но те, кому случалось бывать в его обществе часто, привыкли к этим странностям и не обращали на них внимания, увлекаясь потоком его диких и важных речей и весьма оригинальных мыслей.

— Мисс Хант, — сказал доктор Уорнер, — это доктор Сайрус Пим.

Доктор Сайрус Пим закрыл при этом глаза, точно благонравный ребенок, и отвесил короткий полупоклон, довольно неожиданно обнаруживший в нем гражданина Соединенных Штатов.

— Доктор Сайрус Пим, — продолжал Уорнер (доктор Пим снова закрыл глаза), — пожалуй, лучший эксперт по уголовному праву в Америке. Судьба дала нам счастливую возможность воспользоваться его советами в этом необыкновенном деле...

— У меня голова идет кругом, — прервала его Розамунда. — Каким образом наш бедный мистер Смит мог оказаться таким ужасным чудовищем, каким он оказывается теперь по вашим словам?

— Или по вашей телеграмме, — заметил с улыбкой доктор Уорнер.

— О, да вы ничего не понимаете, — нетерпеливо вскричала девушка. — Он сделал нам больше добра, чем все молитвы и церковные проповеди.

— Думаю, что я могу все объяснить этой молодой лэди, — сказал доктор Сайрус Пим. — Этот преступник или маниак Смит является гением зла, у него есть своя система, которую он сам изобрел, чрезвычайно дерзкая, но гениальная. Он популярен везде, куда бы он ни явился, и заполняет собой каждый дом, как буйный, крикливый ребенок. В наше время мошенникам

трудно вводить в заблуждение людей одною лишь благородной позой, поэтому он разыгрывает из себя, скажем, богему, невинную богему. Этим он сбивает с толку всех и каждого. Люди привыкают к маске условной порядочности, и он сходит за добродушного эксцентрика. Вы допускаете переодетого Дон-Жуана в солидном и важном испанском купце. Но вы не узнаете Дон-Жуана, если он переоденется Дон-Кихотом. Вы допускаете, что шарлатан может вести себя, как сэр Чарлз Грандиссон¹⁾, так как (хотя я и преклоняюсь, мисс Хант, перед глубокой, до слез трогающей чувствительностью Самуэля Ричардсона) сэр Чарлз Грандиссон частенько вел себя, как шарлатан. Но никто и представить себе не может, что шарлатан способен явиться не в образе сэра Чарлза Грандиссона, а в образе сэра Роджера де Коверлэя²⁾. Выдавать себя за доброго малого, чуть-чуть не в своем уме—таково ныне инкогнито преступников, мисс Хант. Идея великолепная, имеющая неизменный успех. Но этот успех и является верхом жестокости. Я могу простить Дику Тарпину, когда он превращается в доктора Бэзби; но я не прощаю, когда он изображает доктора Джонсона. Святой, у которого мозги не в порядке, лицо, по-моему, слишком священное, чтобы его можно было пародировать.

— Но откуда вы знаете, — в отчаянии вскричала Розамунда, — что мистер Смит знаменитый преступник?

¹⁾ Сэр Чарлз Грандиссон — герой нравоучительного романа Ричардсона, в лице которого автор пытался представить идеального английского джентльмена.

²⁾ Сэр Роджер де Коверлэй — старый английский помещик, которого изображали на страницах своего журнала Стил и Адиссон, — человек простодушный, милый, но с большими причудами.

— Я собрал уже все документы, — сказал американец, — к тому времени, как мой друг Уорнер обратился ко мне по получении вашей каблеграммы. Эти факты — моя профессия, мисс Хант. И они бесспорны, и точны, как поезд, приходящий в срок по расписанию. Этому человеку до сих пор удавалось избегать кары, благодаря изумительной его способности разыгрывать из себя младенца или дурачка. Но я сам лично, как специалист, собрал частным образом сведения о восемнадцати или двадцати злодеяниях, задуманных или совершенных — именно благодаря такому приему. Человек проникает в чужую квартиру таким же манером, как он проник в вашу, и достигает того, чтобы его все полюбили. Все идет по его плану. Когда же он исчезает, исчезает еще что-нибудь. Исчезает, мисс Хант, исчезает — жизнь человека или его ложки, или чаще всего — женщина. Уверяю вас, у меня есть документальные данные.

— Я познакомился с ними, — солидно подтвердил доктор Уорнер, — и могу вас уверить, что они вполне достоверны.

— Самым бесчеловечным, с моей точки зрения, — продолжал американский медик, — является его отношение к женщинам. Он соблазняет невинную женщину дикой симуляцией невинности. Из каждого дома, в котором побыл этот изобретательный дьявол, уводил он невинную девушку. Говорят, что кроме красивого лица он обладает гипнотизирующей силой, и женщины следуют за ним, как автоматы. Что стало со всеми этими несчастными девушками? Никто не знает. Убиты, смею сказать; мы обладаем достаточным количеством данных, что рука его не останавливается и перед убийством, хотя ни одно из них не было обнаружено и доведено до суда. Так или иначе, но наши новейшие методы

сыска не помогли нам напасть на след этих загубленных женщин. Мысль о них угнетает меня больше всего, мисс Хант. Покуда я ничего не могу больше сказать, кроме того, что сказал доктор Уорнер.

— Верно, верно,—сказал Уорнер с улыбкой, словно высеченной из мрамора. — Повторяю, мы все крайне благодарны вам за вашу телеграмму.

Маленький ученый янки говорил с такой очевидной искренностью, что забывались особенности его тона и манер — опускающиеся ресницы, поднимающийся голос, сжатые пальцы — большой с указательным — все, что при других обстоятельствах было бы немного смешно. Хотя Пим был гораздо знаменитее Уорнера, нельзя сказать, чтобы он был умнее своего английского коллеги, но он обладал тем, чего у Уорнера никогда не было, — свежей, неподдельной серьезностью, великой американской добродетелью простоты. Розамунда сдвинула брови и мрачно вглядывалась в черневшее здание, где находилось темное чудовище.

Ясный дневной свет еще не совсем угас, но уже не золотом отливал он, а серебром; из серебряного превращался в серый. На мертвом фоне сумерек длинные перистые тени одного-двух деревьев в саду увядали все более и более. В самой резкой и глубокой тени — за крыльцом дома, под широким французским окном — Розамунда могла наблюдать, как Инглвуд (приставленный стеречь таинственного узника) торопливо совещался с Дианой, явившейся из сада к нему на помощь. Сильно жестикулируя, они обменялись несколькими словами и потом вошли в комнаты, закрыв за собой стеклянную дверь, ведущую в сад. И сад, казалось, стал еще серее.

Казалось, что американский джентльмэн, именуемый Пимом, хотел было двинуться по тому же направлению.

Но не сходя еще с места, он заговорил с Розамундой так простодушно и в то же время так деликатно, что она простила ему его чисто детскую спесь; в его словах было столько неожиданной своенравной поэзии, что, несмотря на всю его педантичность, трудно было назвать этого человека педантом.

— Мне очень жаль, мисс Хант, — сказал он, — но доктор Уорнер и я, как квалифицированные специалисты, находим самым удобным увезти мистера Смита в этом кэбе, и чем меньше будет разговоров, тем лучше. Не волнуйтесь, мисс Хант; вы не должны забывать, что мы увозим от вас некое чудовище, пугало, нечто такое, чему лучше бы и вовсе не быть; нечто похожее на идолов, находящихся в вашем Британском Музее: и крылья, и бороды, и ноги, и глаза—но без человеческого облика. Вот, что представляет из себя Смит, и скоро вы избавитесь от него.

Он сделал шаг по направлению к дому, Уорнер последовал за ним. Вдруг распахнулась стеклянная дверь. Из дому вышла Диана Дьюк и быстрее обыкновенного прошла по лужайке, все время не спуская глаз с Розамунды.

— Розамунда! — в отчаянии вскрикнула она. — Что мне с нею делать?

— С нею? — встрепелась мисс Хант и даже привскочила на месте. — Боже мой! Не женщина ли он еще вдобавок?

— Нет, нет, нет, — успокаивающим тоном проговорил доктор Пим, очевидно желая быть справедливым. — Женщина? Нет! До этого он еще не дошел.

— Я имею в виду вашу подругу, Мэри Грэй! — по-прежнему раздраженно говорила Диана. — Что мне теперь делать с ней?

— Как нам открыть ей всю правду, относительно

Смита, хотите вы сказать?—спросила Розамунда, и ее лицо затуманилось. — Да, действительно, это будет не-легкое дело.

— Но я уже открыла ей всю правду! — вскричала Диана с несвойственным ей отчаянием. — Я сказала ей все, но она не обращает внимания и продолжает твер-дить, что уедет вместе с ним в этом кэбе.

— Но это невозможно! — воскликнула Розамунда. — Ведь Мэри набожная, религиозная девушка. Она...

Розамунда во-время остановилась, заметив, что по лужайке направляется к ним Мэри Грэй. Обычной своей спокойной походкой шла по саду эта спокойная де-вушка, очевидно одетая для путешествия. На голове у нее был хорошенький, но изрядно поношенный иссиня-серый берет, а на руки она натягивала серые, слегка продранные перчатки. Все же эти два серых пятна ве-ликолепно гармонировали с ее роскошными медно-крас-ными волосами: поношенная одежда была ей к лицу, ибо женщине только тогда к лицу ее платье, когда кажется, что оно надето случайно.

Но в данном случае эта женщина обладала свой-ством еще более исключительным и привлекательным. В эти серые часы заката, когда небо еще печально, случается, что где-нибудь в углу остается одно отраже-ние, где замедляется исчезающий свет. В окне, в воде, в зеркале еще горит огонь, исчезнувший для остального мира. Причудливое, почти треугольное лицо Мэри Грэй было словно треугольный осколок зеркала, еще отра-жавший великолепие минувших часов. Мэри всегда была миловидна, но ее нельзя было назвать красавицей. Однако теперь ее счастливое лицо среди общего горя было так прекрасно, что при взгляде на нее у всех мужчин захватило дыхание.

— О Диана, — понижая голос и изменяя свою первоначальную фразу, сказала Розамунда, — как вы сказали ей это?

— Сказать ей это нетрудно, — отозвалась Диана. — Это не производит на нее решительно никакого впечатления.

— Простите, я заставила вас ждать, — извиняющимся тоном проговорила Мэри Грэй. — Теперь нам и в самом деле необходимо проститься. Инносент отвезет меня к своей тетке в Гампстэд... а я боюсь, что она рано ложится спать.

Мэри говорила мимоходом о прозаическом деле, но в глазах у нее сонно мерцало сияние — необычайнее тьмы. Казалось, что она созерцает какой-то отдаленный предмет.

— Мэри, Мэри! — вскричала Розамунда совершенно упавшим голосом. — Мне так жаль, но это невозможно. Мы... мы... раскрыли все, что касается мистера Смита.

— Всё? — с вялым любопытством повторила Мэри. — Должно быть, это страшно интересно!

Ни шороха, ни звука, — молчание; только молчаливый Майкэл Мун, прислонившийся к решетке, поднял голову, точно к чему-то прислушивался. Розамунда не знала, что сказать. Доктор Пим пришел ей на помощь — по-своему, решительно и резко.

— Вот в чем дело! — заявил он. — Этот человек, Смит, на каждом шагу совершает убийства. Ректор Брэксспирского Колледжа...

— Я знаю, — сказала Мэри с неопределенной и в то же время сияющей улыбкой. — Инносент рассказывал мне.

— Не знаю, что он вам рассказывал, — быстро возразил Пим, — но я имею основание опасаться, что он говорил вам неправду. Правда заключается в том, что

этот человек по горло погряз во всех известных человеческих пороках. Уверяю вас, что у меня есть документальные данные. Я имею очевидные доказательства того, что им совершены кражи со взломом. Вот под этим, например, документом имеется подпись одного из самых выдающихся английских викариев. Я имею...

— О, но там было целых два викария, — вскричала Мэри с какой-то мягкой настойчивостью. — Это смешнее всего.

Темные стеклянные двери снова распахнулись, и в них на мгновение показался Инглвуд, делая рукой какой-то знак. Американский доктор кивнул головой, английский доктор не кивнул головой, но оба они мерными стопами направились к дому. Остальные не сдвинулись с места, — Майкэл попрежнему висел на решетке. Но поворот его плеч и затылка определенно указывал, как жадно ловит он каждое слово.

— Разве вы не понимаете, Мэри? — в отчаянии кричала Розамунда. — Разве вы не знаете, какие ужасные вещи творились здесь перед нами, у нас на глазах? Думаю, что и там наверху вы должны были слышать револьверные выстрелы.

— Да, я слышала выстрелы, — почти весело сказала Мэри. — Но я тогда была занята укладыванием вещей в чемодан. Инносент сказал мне заранее, что собирается стрелять в доктора Уорнера, так что, собственно говоря, не стоило спускаться из-за этого вниз.

— Ах, я не понимаю, что вы такое говорите! — крикнула Розамунда Хант и топнула ногой. — Но вы должны понять, что я скажу вам. И вы поймете. Я вам скажу всю правду без всяких прикрас, потому что вас необходимо спасти. Я хочу сказать, что ваш Инносент Смит — самый мерзкий, безнравственный человек во

всем свете. Многих мужчин пристрелил он, многих женщин увез с собой в кэбе. Он, кажется, убивал этих женщин, так как никто не может никогда разыскать их.

— Он, действительно, иногда заходит чересчур далеко, — сказала Мэри и, тихо смеясь, стала застегивать свои старенькие серые перчатки.

— Нет, это настоящий месмеризм! — вскричала Розамунда и разразилась потоками слез.

В ту же самую минуту оба доктора, одетые в черное, вышли из дома. Их пленник — колоссальный верзила в зеленом костюме — шел посредине. Он не оказывал им сопротивления, но все время улыбался хмельной, полумной усмешкой. Артур Инглвуд завершал процессию — в черном костюме, весь красный — как последняя тень отчаяния и стыда. Никто в обеих группах не шелохнулся, за исключением Мэри Грэй. Она спокойно пошла навстречу Смиту и спросила:

— Вы готовы, Инносент? Наш кэб уже давно ждет.

— Лэди и джентльмены, — решительно заявил доктор Уорнер. — Я настоятельно требую, чтобы эта лэди оставила нас. У нас и без того достаточно хлопот, а в кэбе еле хватит места для троих.

— Это ведь наш кэб, — настаивала Мэри. — Вон, наверху желтый чемодан Инносента.

— Отойдите, пожалуйста, в сторону, — строго сказал Уорнер. — А вы, мистер Мун, будьте любезны, подвиньтесь немного. Живее, живее! Чем скорее мы кончим это отвратительное дело, тем лучше, но как нам открыть калитку, если вы прислонились к ней?

Майкэл взглянул на его длинный, сухой указательный палец и, казалось, взвешивал сказанное.

— Да, — произнес он наконец. — Но к чему же я прислонюсь, если вы откроете калитку?

— О, да уйдите же с дороги! — воскликнул почти добродушным тоном Уорнер, — опирайтесь на нее, сколько вам угодно, в другое время.

— Нет, вряд ли еще будет другое такое время, и такое место, и синяя калитка—все вместе,—задумчиво заметил Майкэл Мун.

— Майкэл, — воскликнул Артур Инглвуд в полном отчаянии, — сойдете ли вы, наконец, с дороги!

— Едва ли... Пожалуй, что нет! — после некоторого раздумья сказал Майкэл и медленно повернулся кругом, так что лицом к лицу столкнулся со всеми собравшимися, все еще продолжая с беззаботнейшим видом загораживать им проход.

— О, — внезапно вскричал он. — Что вы хотите сделать с мистером Смитом?

— Мы увезем его! — коротко отрезал Уорнер, — и подвергнем исследованию.

— Устроите ему экзамен? — весело спросил Мун.

— Да, у судебного следователя, — отрезал тот.

— Какие следователи, — вскричал, возвышая голос, Майкэл, — кроме древних, независимых герцогов Маяка, смеют судить о том, что происходит на этой свободной земле? Какой суд, кроме Верховного Совета Маяка, имеет право судить одного из наших сограждан? Вы забыли, что только сегодня в полдень выкинули мы флаг независимости и отделились от всех остальных наций мира.

— Майкэл, — заломив руки, вскричала Розамунда, — как вы можете задерживать всех и болтать пустяки? Ведь вы сами были очевидцем всего этого ужаса! Вы были здесь, когда он сошел с ума. Вы помогли доктору подняться, когда тот споткнулся о цветочный горшок.

— И Верховный Совет Маяка, — с гордым видом возразил Мун, — имеет особые полномочия во всех случаях, касающихся цветочных горшков, докторов, падающих в саду, и безумцев. Этот пункт имеется даже в нашей первой хартии времен Эдуарда I: *si medicus quisquam in horto prostratus...* ¹⁾.

— С дороги! — вскричал внезапно рассвирепевший Уорнер. — Или мы заставим вас силой...

— Что? — вскричал Майкэл Мун, испуская яростный и в то же время радостный крик. — Итак, я должен погибнуть, защищая эту священную ограду! Вы хотите обогреть эту синюю решетку моей кровью? — И он схватился рукой за острие одной из синих пик позади себя. Пика еле держалась в решетке — и, как только Мун дотронулся до нее, очутилась в руке у ирландца.

— Взгляните! — кричал он, подбрасывая в воздухе этот сломанный дротик, — даже пики, окружающие башни Маяка, восстанут со своих мест на ее защиту! Как прекрасно умереть одиноким в таком месте и в такое мгновение. И четким голосом процитировал он благородные строки Ронсара:

Или во славу божью, иль за честь моего короля,
В отчаянии, с открытою грудью, на защиту родной земли!..

— Вот так история! — почти с испугом сказал американец. И добавил: — Что, здесь у вас не один сумасшедший, а два?

— Нет, здесь их пятеро, — прогремел Мун. — И только двое нормальных, только двое не сошли с ума — Смит и я.

¹⁾ Шуточная латинская цитата из несуществующего кодекса: «если какой-нибудь медик упадет в саду...»

— Майкэл!—вскричала Розамунда,—Майкэл, что это значит?

— Это значит—вздор,—проревел Майкэл, и его сильнее копые полетело в другой конец сада. — Это значит, что доктора—вздор, и криминология—вздор, и американцы—вздор, еще более нелепый, чем наше судилище. Это значит, вы, тупоголовые, что Инносент Смит такой же безумец и такой же преступник, как любая птица на дереве.

— Но, дорогой мой Мун,—застенчивым голосом сказал Инглвуд,—эти джентльмены...

— По совету двух докторов,—снова вскипел Мун, никого не слушая,—запереть человека в одиночную камеру лишь по совету двух докторов! О, моя шляпа! И каких докторов! Взгляните на них! Только взгляните на них! Разве можно с такими советоваться! Разве можно читать книгу, покупать себе собаку или остановиться в гостинице по совету таких докторов? Мои предки вышли из Ирландии и были католиками. Что бы вы сказали, если бы я признал человека порочным, основываясь на словах двух священников?

— Но тут не только слова,—возразила Розамунда.— У них есть и доказательства.

— А вы видели эти доказательства?—спросил Мун.

— Нет,—отвечала Розамунда с каким-то робким удивлением.—Доказательства в их руках.

— Как и всё вообще в их руках,—продолжал Мун.— Вы даже, приличия ради, не пожелали посоветоваться с миссис Дьюк.

— О, это бесполезно,—шепнула Диана Розамунде;—тётя не могла бы и гусю сказать «киш».

— Я рад слышать это,—сказал Майкэл.—С нашим гусиным стадом она должна была бы без усталости твер-

дить это ужасное слово. Что касается меня, то я просто не допущу такого легкомысленного и ветреного образа действий. Я взываю к миссис Дьюк,—это ее дом.

— Миссис Дьюк?—недоверчиво протянул Инглвуд.

— Да, миссис Дьюк,—твердо стоял на своем Майкэл Мун,—Дьюк—обычно называемый железный дук ¹⁾.

— Если вы спросите тетю,—спокойно проговорила Диана,—она будет за то, чтобы ничего не предпринимать. Единственное ее желание, чтобы не было шума, чтобы все шло так, как идет. Ей только это и нужно.

— Да,—вставил Майкэл,—в данном случае это нужно и всем нам. Вы не уважаете старших, мисс Дьюк. Когда вы будете в ее возрасте, вы узнаете то, что знал Наполеон: половина писем могут обойтись без ответа, если вы сами удержитесь от страстного желания ответить на них.

Он все еще не изменил своей бессмысленной позы—опирался локтем о ворота. Но тон его внезапно—уже в третий раз—изменился. Первый, притворно-героический, превратился в гуманно-возмущенный, а теперь перешел во внушительно-настойчивый голос адвоката, дающего хороший юридический совет.

— Не только тетка ваша желает, чтобы все было тихо и мирно, насколько возможно,—сказал он.—Мы все желаем того же. Вникните в основу всего дела. Я полагаю, что эти представители науки допустили одну в высшей степени серьезную научную ошибку. Я уверен, что Смит так же невинен, как весенний цветок. Я не спору,—цветы не часто стреляют в частных домах из заряженных револьверов; я не спору,—здесь есть

¹⁾ Дук по-английски—герцог. Железным герцогом называли Веллингтона.

что-то подлежащее выяснению. Но я глубоко уверен, что за этим кроется какая-то ошибка или шутка, или аллегория, или просто несчастный случай. Хорошо, предположим, что я не прав. Мы обезоружили его; здесь нас пятеро мужчин, мы во всякую минуту можем сдержать его. Посадить его под замок никогда не поздно. Успеем и после. Но предположим, что в моих догадках есть хоть крупица правды. Кому же из здесь присутствующих будет приятно, если мы станем полоскать грязное белье перед публикой? Кому это надо? Кому это выгодно? Слушайте—начнем по порядку. Стоит вам только вывезти Смита из-за этой ограды, как вы тем самым вывозите его на первую страницу вечерних газет. Я знаю; я сам нередко составлял первые страницы в газетах. Мисс Дьюк, желаете ли вы, желает ли ваша тетушка, чтобы о вашем пансионе была напечатана вот такая заметка: «Здесь стреляют в докторов»? Артур, я могу ошибаться, но Смит появился у нас впервые в качестве вашего школьного товарища. Запомните мои слова: если он будет признан виновным, то Органы Общественного Мнения объявят, что сюда ввели его вы. Если же он будет оправдан, они протрубят во все трубы, что это именно вы помогли его задержать. Розамунда, моя дорогая,—прав я или неправ—все равно, но знайте, что, если он будет признан виновным, они объявят, что вы хотели выдать за него замуж свою компаньонку. Если же он будет оправдан, они пропечатают ту телеграмму. Я знаю эти Органы, чтоб им провалиться сквозь землю!

Он остановился на минуту, пылкое рассуждение утомило его больше, чем его прежние театральные речи. Но теперь он был безусловно искренен, точен, логичен, это сказалось и в той речи, которую он произнес, как только ему удалось отдышаться.

— Так же обстоит дело,—кричал он,—и с нашими медиками. Вы скажете, что доктор Уорнер—лицо потерпевшее. Согласен. Но неужели он жаждет, чтобы все газетные писаки изобразили его, как он шлепнулся носом в землю? Правда, он не виноват, но зрелище было не очень блистательное. Он взывает о справедливости, но желает ли он взывать о ней не только на коленях, но и на четвереньках? Не принято, чтобы доктора занимались саморекламой, да я и сомневаюсь, чтобы какойнибудь доктор пожелал подобной рекламы. И даже у нашего американского гостя интересы совпадают с нашими. Положим, у него имеются решающие дело документы. Допустим, что в его руках находятся улики, действительно заслуживающие рассмотрения. Хорошо, ставлю десять против одного, что на суде не допустят, чтобы он огласил эти данные. В наши дни человек не может всенародно говорить правду. Он может, однако, сказать ее в тесном кругу. Он может сказать ее в стенах этого дома.

— Это совершенная правда,—произнес Сайрус Пим с невозмутимой важностью. Сохранить важность при таких обстоятельствах мог только американец.—Совершенная правда: меня значительно меньше стесняли при частных допросах.

— Доктор Пим!—внезапно раздражаясь, вскричал Уорнер.—Доктор Пим! вы, конечно, не допускаете...

— Смит, может быть, сумасшедший,—продолжал меланхолический Мун, и слова его монолога падали тяжело, как секира.—Но во всех его разглагольствованиях о гомруле для каждого дома есть доля правды; есть что-то прекрасное в идее Верховного Судилища Маяка. Несомненная правда заключается в том, что во многих случаях люди могут уладить свои дела своим

собственным домашним законом, тогда как на суде их ждет только официальное беззаконие. О, я ведь тоже юрист, и мне это отлично известно. Очень часто вся нация не может решить вопроса, который удачно разрешит одна семья. Множество юных преступников штрафуется и рассыляется по тюрьмам, а их следовало бы просто пошлепать и уложить в постель. Множество мужчин, я в том уверен, заключены на всю жизнь в Гануэлле ¹⁾, и между тем их следовало бы отправить на недельку в Брайтон ²⁾. Есть что-то ценное в предложенной Смитом идее домашнего суда, и я предлагаю провести ее на практике. Подсудимый—в ваших руках; документы—тоже. Мы все здесь свободные, белые люди—христиане. Вообразите себе, что мы находимся в осажденном городе или на необитаемом острове. Давайте, сами уладим это дело; вернемся в дом, усядемся в кружок и собственными глазами, собственными ушами расследуем, правда ли все это, или нет; человек ли этот Смит или чудовище. Если мы не в силах решить такое маленькое дело, то какое имеем мы право участвовать в парламентских выборах и ставить кресты на баллотировочных листках?

Инглвуд и Пим переглянулись. Уорнер был далеко не дурак. Он видел, что позиция Муна приобретает твердую почву. Причины, побудившие Артура подумать об уступке, были, правда, совсем не те, что у доктора Сайруса Пима. Инглвуд всем своим существом был за мирное домашнее улажение всех неприятностей; он был англичанин с головы до ног и скорее примирился бы с убытками, чем стал бы искоренять их эффектными сце-

1) В Гануэлле находится дом умалишенных.

2) Брайтон—приморский курорт.

нами и великолепной риторикой. Разыгрывать из себя шута и странствующего рыцаря на манер его приятеля ирландца было бы для него настоящей пыткой; даже и та полуофициальная роль, которую ему пришлось взять на себя, была ему в тягость. Едва ли он очень упорствовал бы, если бы кто-нибудь стал доказывать, что его обязанность не будить спящих собак.

Сайрус Пим, напротив, родился в стране, где возможно многое, что кажется нелепым англичанину. Правила и узаконения точь в точь такие, как любая затея Смита или любая пародия Муна, существуют в действительности, проводятся в жизнь невозмутимыми полисменами и исполняются суетливыми деловыми людьми. Пим хорошо знал свою родину—обширные и все же таинственные и причудливые Соединенные Штаты. Каждый штат велик, как целое государство, обособлен, как затерявшаяся деревушка, и полон неожиданностей, как западня. Есть штаты, где ни один мужчина не имеет права закурить папиросу. Есть штаты, где каждый имеет право завести себе десять жен. Есть строгие штаты, где запрещается пить, есть добрые штаты, где ежедневно можно разводиться с женой. Изучив все эти крупные различия в обширных масштабах, Сайрус не удивлялся малым обычаям в малой стране. Неизмеримо более чуждый Англии, чем любой русский или итальянец, абсолютно неспособный даже отдать себе отчет во всех английских условностях, он не в состоянии был осмыслить, насколько недопустимо Судилище Маяка. Все участники этого эксперимента твердо уверены в том, что Пим до самого конца не сомневался в подлинном существовании такого фантастического суда и полагал, что суд этот является одним из британских установлений.

На мгновение весь синклит погрузился в молчание. Становилось темно. Сквозь сгущавшийся туман к этим людям приблизилась какая-то невзрачная фигурка, походка которой имела отдаленное сходство с развинченным негритянским танцем.

— Да ведь это Моисей Гулд, — воскликнул Майкэл Мун. — Разве не достаточно одного только его появления, чтобы рассеять все ваши мрачные мысли?

— Но, — возразил доктор Уорнер, — я не могу понять, какое отношение имеет мистер Гулд к данному вопросу, и еще раз я требую...

— Послушайте, что здесь за похороны? — шумно спросил вновь прибывший, самовольно принимая на себя роль посредника. — Доктор чего-нибудь требует? Так всегда в пансионатах. Вечные претензии! Отказаться!

С возможным беспристрастием и деликатностью изложил ему Мун положение вещей и в общих чертах пояснил, что Смит оказался виновным в опасных и сомнительных поступках и что даже возникло сомнение в его нормальности.

— Ну, конечно, он сумасшедший, — невозмутимо заявил Моисей Гулд. — Не нужно старика Шерлока Холмса, чтобы заметить, что он сумасшедший! Ястребиное лицо Холмса, — продолжал он, смакуя собственное остроумие, — омрачилось тенью разочарования, так как угреподобный Гулд понял эту истину раньше его.

— Ну, если он сумасшедший, — начал Инглвуд.

— Еще бы, — сказал Моисей. — Если кто в первый раз в жизни заливает за галстук, да хватит через край, то с непривычки у него мозги набекрень — непременно.

— Раньше вы не говорили таким тоном, — довольно резко проговорила Диана, — а теперь вы слишком много себе позволяете.

— Я на него не в обиде,—великодушно заметил Моисей,—бедняга никому не причинит никакого вреда. Можно привязать его к дереву, и пусть себе пугает воров.

— Моисей,—сказал Мун торжественно и горячо,—вы воплощение Здравого Смысла. Вы думаете, что мистер Инносент—сумасшедший. Пред вами воплощение Научной Теории. Доктор так же, как и вы, думает, что мистер Инносент—сумасшедший. Познакомьтесь. Доктор,—это мой друг мистер Гулд. Моисей,—это знаменитый психиатр, доктор Сайрус Пим.

Знаменитый психиатр, доктор Сайрус Пим, закрыл глаза, поклонился и тихим голосом пробормотал свой национальный боевой клич — нечто вроде «Рад видеть вас» ¹⁾.

— Вы оба,—весело продолжал Майкэл,—уверены, что наш бедный друг сошел с ума. Ступайте же скорее в этот дом и докажите, что это так. Что может быть могущественнее Научной Теории, идущей рука об руку со Здравым Смыслом! Вместе вы—всё; каждый порознь—ничто. Я не так невежлив, чтобы предположить, что у доктора Пима нет здравого смысла. Я ограничусь лишь установлением факта, что до сих пор он ни в чем не проявил этого здравого смысла. В качестве старого друга я беру на себя смелость утверждать и готов прозакладывать свою последнюю рубашку, что Моисей не знаком ни с какой научной теорией. Но даже с вашим мощным союзом готов я бороться, вооруженный одной интуицией.

— Весьма рад такому сотруднику, как мистер Гулд,—

¹⁾ Американцы, знакомясь с кем-нибудь, выражают свою радость гораздо горячее и многословнее, чем англичане.

сказал Пим, внезапно открывая глаза.—Я однако полагаю, что, хотя мы оба, он и я, сходимся в первоначальном ди-агнозе, между нами все-таки есть что-то такое, чего нельзя назвать разногласием, что мы могли бы назвать, скажем...

Он сложил концы большого и указательного пальцев, изящно приподнял остальные и, казалось, ждал, что ему подскажут нужное слово.

— Ловлею мух?—осведомился обязательный Моисей.

— Расхождением,—сказал доктор Пим, сопровождая это слово легким вздохом.—Расхождением. Если допустить, что вышеназванный субъект не в своем уме, это еще не значит, что он принадлежит к числу маниакальных убийц, о которых говорит наука.

— Приходило ли вам в голову,—заметил Мун, который снова прислонился к воротам, но не повернул головы к собеседнику,—что, если бы он был маниакальный убийца, он бы давно уложил нас на месте, пока мы здесь стоим и болтаем?

Внезапно вспыхнуло что-то в глубине их сознания, словно скрытый динамит в подземельи. Впервые за час или два вспомнили они, что, пока они разговаривают о страшном чудовище, оно с невозмутимым спокойствием стоит среди них. Они оставили его в саду, точно садовую статую; если бы дельфин мог обвиться вокруг его ног, или фонтан забил у него изо рта, они не удивились бы,—так мало внимания обращали они на преступника. Он стоял в одной и той же позе, сунув руки в карманы, слегка согнув могучие плечи; густые, светлые, взбитые ветром волосы слегка спускались ему на лоб, свежее, немного близорукое лицо было обращено вниз, и глаза его не останавливались ни на чем в особенности. По всей вероятности, он за все это время ни разу

не сдвинулся с места. Его зеленое платье, казалось, было вырезано из того же зеленого дерна, на котором он стоял. Своей тенью он осенял всех собравшихся; под этой тенью все время разглагольствовал Пим, рассуждала Розамунда, паясничал Майкэл и горланил Моисей. Он же застыл, словно статуя. Воробей присел к нему на его дородное плечо и, оправив свой перистый костюм, улетел.

Майкэл громко захохотал.

— Ну,—взревел он,—суд Маяка открылся, и тотчас же пришлось его закрыть... Вы все теперь знаете, что я прав. Ваш скрытый здравый смысл подсказал вам то самое, что подсказал мне мой скрытый здравый смысл. Смит мог палить из ста пушек вместо одного револьвера—и вы все равно знали бы, что он ни для кого не опасен. Идем же в дом и приготовим залу для заседаний суда. Так как Верховное Судилище Маяка уже пришло к определенному решению, то оно приступает к следствию.

— Суд идет!—вскричал маленький Моисей в необычайном возбуждении, словно животное во время музыки или грозы. — Идите к Высшему Судилищу Яиц и Ветчины! Есть копченая рыба из старинного торгового дома. Господин судья благодарит мистера Гулда за проявленную им тончайшую профессиональную деликатность, достойную лучших традиций питейного дома. На три пенса шотландской горяченькой, мисс! Ну, поймайте меня, девушки!

Так как девушки не проявили ни малейшего желания поймать его, он двинулся один, приплясывая в большом возбуждении. Он обежал весь сад и вернулся на прежнее место,—запыхавшись, но в таком же восторге. Мун знал своего приятеля; он знал, что ни один чело-

век, даже в припадке ярости, не мог бы остаться серьезным, глядя на мистера Гулда. Раскрытая стеклянная дверь была к нему ближе всех, и так как ноги этого ликующего глупца быстро зашагали в ту сторону, то все тотчас же двинулись к дому—единодушной и шумной ватагой. Только Диана Дьюк сохранила некоторую долю суровости: она долго крепилась, но, наконец, не вытерпела и высказала то, что уже давно готово было сорваться с ее нетерпеливых женских губ. Покуда разыгрывалась трагедия, она считала невозможным высказать эту мысль, казавшуюся ей бессердечной.

— В таком случае,—сухо сказала она,—можно отпустить этих извозчиков.

— Но надо вернуть Инносенту его чемодан,—с улыбкой сказала Мэри.—Надеюсь, извозчик снимет его для нас.

— Я достану чемодан,—сказал Смит. Это были его первые слова за все время: его голос звучал гулко и глухо, точно голос статуи.

Те, кто так долго топтались и рассуждали вокруг него, пока он стоял неподвижно, были огорошены его буйной стремительностью. Одним прыжком, как на пружине, вылетел он из сада—на улицу, одним прыжком вскочил на крышу кэба. Извозчик в то время стоял около лошадиной морды и снимал с нее пустой мешочек. На мгновение казалось, что Смит кувyrкается на крыше кэба в объѣтах своего чемодана. Однако в следующее мгновение он, как бы по счастливой случайности, вкатился на высокие извозчицьи козлы и издал неожиданный пронзительный крик. Конь сорвался с места и сломя голову помчался по улице.

Исчезновение Смита было так молниеносно и быстро, что все превратилось в садовые статуи. Впрочем, мистер

Гулд, не вполне приспособленный—и морально, и физически—к задачам навеки-застывшей скульптуры, прежде других вернулся к жизни и, повернувшись к Муну, заметил с видом человека, обратившегося где-нибудь в омнибусе к незнакомому пассажиру:

— Что? Сорвалось? А? Поминай как звали?.. Не так ли?

Последовало роковое молчание; затем заговорил доктор Уорнер, с презрительным смехом. Каждое его слово было ударом кремневой дубины.

— Вот вам и Суд Маяка, мистер Мун. Вы пустили буйного сумасшедшего невозбранно гулять по столице...

Дом «Маяка» находился, как уже было сказано, на краю длинного полукруглого ряда зданий. Крохотный садик, прилегавший к нему, острым углом выдавался вперед, словно зеленый мыс, врезающийся в море двух улиц. Смит и его кэб промчались по одной стороне треугольника, и большинство собравшихся было непоколебимо уверено, что им уже никогда не увидеть Инносента. Но домчавшись до вершины треугольника, он внезапно повернул коня и на глазах у всей компании промчался таким же бешеным аллюром по другой стороне, вдоль сада. Инстинктивным движением ринулись все по лужайке вперед, словно желая остановить его, но тотчас же—весьма благоразумно—отпрянули прочь. Перед тем, как вторично исчезнуть, он изо всех сил поднял одной рукой свой громадный желтый чемодан и швырнул его таким могучим взмахом, что тот, словно бомба, грохнулся в середину сада. Все бросились врассыпную. Шляпа доктора Уорнера едва не пострадала в третий раз.

— Хорошо!—сказал Мун, и очень странная нота зазвучала в его голосе.—Это не помешает вам всем войти в дом; стало темно и холодно! У нас все же

остались две реликвии от мистера Смита: его невеста и его чемодан.

— Зачем вам нужно, чтобы мы вошли в дом?— спросил Артур Инглвуд. Казалось, что в его розоватом челе и темно-каштановых волосах тоска достигла своего апогея.

— Мне нужно, чтобы все остальные вошли в дом,— отчеканил Майкэл, обращаясь к Артуру.— Мне нужен весь этот сад, чтобы побеседовать с вами.

Воцарилась атмосфера иррационального сомнения; и вправду, становилось холоднее, ночной ветер в сумерках уже начал раскачивать верхушки деревьев. Но доктор Уорнер заговорил безапелляционно и резко.

— Я отказываюсь выслушивать подобные предложения,— сказал он;— вы дали ускользнуть негодяю, и я должен отыскать его.

— Да я и не прошу вас выслушивать какие бы то ни было предложения,—спокойно возразил Мун,—я только прошу вас просто слушать...

Он поднял руку, призывая к молчанию, и, вслед за этим, шелестящий звук, затерявшийся в глубине темной улицы, послышался снова—все ближе и ближе. Но теперь он доносился с другой стороны. С невероятной быстротой разрослся этот звук, и снова бойкие подковы и сверкающие колеса примчались к синей зубчатой решетке, к тому самому месту, где кэб стоял раньше. Мистер Смит покинул свой насест, вошел обратно в сад и с самым рассеянным видом, как ни в чем не бывало, остановился в той же позе неподвижного и равнодушного слона.

— Войдите же в комнату! Войдите!—весело кричал Мун тоном человека, загоняющего в дом стаю кошек.— Войдите же, войдите, да живет! Ведь я вам тысячу раз повторяю, что мне надо поговорить с Инглвудом!

Трудно сказать, как эти люди очутились в доме. Они ужасно устали от совершающейся с ними чепухи,— подобно тому, как зрители в фарсе изнемогают от смеха. Буря, которая с каждой минутой становилась сильнее, была заключительным аккордом всего приключения. Инглвуд замешкался позади всех и обратился к Муну с дружеской и добродушной злобой:

— Вы, и вправду, хотите со мной поговорить?

— Хочу,—сказал Майкэл,—и очень.

Настала ночь и, как всегда, скорее, чем было обещано сумерками. Человеческому глазу небо казалось еще светло-серым, но яркая и очень большая луна, внезапно выплывшая из-за крыш и деревьев, доказала путем контраста, что небеса уже темные. Вороха осенних листьев на лужайке, вороха сплоченных туч в небесах, казалось, согнаны были тем же сильным и трудолюбивым ветром.

— Артур,—сказал Майкэл,—я начал с интуиции, но кончаю уверенностью. Вы и я, мы оба, возьмем на себя защиту вашего школьного товарища перед благословенным Судом Маяка. Мы должны снять с Инносента пятно безумия и пятно преступления. Слушайте меня хорошенько, я хочу сказать вам небольшую проповедь.

Они зашагали взад и вперед по дорожкам темневшего сада, и Майкэл Мун продолжал свою речь.

— Можете ли вы,—спросил он,—закрыть глаза и представить себе причудливые древние иероглифы, начертанные на белоснежных стенах в какой-нибудь жаркой и древней стране? Как неуклюжи они были по форме, но как пышны по краскам! Вообразите себе алфавит, состоящий из самых разнообразных фигурок, и черных, и красных, и белых, и зеленых, а перед ними ветхозаветную толпу иудеев—предков Моисея Гулда, которые

стоят и глядят на них, не мигая глазами. Попробуйте-ка догадаться, зачем люди вообще изготовили эти странные знаки.

Инглвуд в первую минуту подумал, что его беспокойный друг окончательно спятил с ума. Так безрассуден был этот ни с чем не сообразный скачок от красочных тропических стен, которые он должен был себе представить, к пригородному серому, холодному, взлохмаченному бурею саду, в котором он находился в тот миг.

— Отчего люди повторяют загадки,—продолжал Мун свою бессвязную речь,—если даже забывают их загадки? Загадку легко запомнить, потому что ее трудно разгадать. Так же легко было запомнить все эти жесткие древние символы—черные, красные или зеленые, потому что трудно было уразуметь их значение. Их краски были ясны. Их формы были ясны. Все было ясно, кроме их смысла.

Инглвуд уже задумался-было над тем, как бы помягче остановить Муна, но тот снова заговорил с возрастающим жаром. Все быстрее и быстрее заходил он по тропинке сада и все чаще затягивался папироской.

— И танцы тоже,—сказал он,—танцы были отнюдь не фривольны. Танцы было еще труднее понять, чем надписи и тексты. Древние танцы были строги, церемонны, ярко-красочны, но бессловесны. Вы ничего странного не заметили в Смите?

— Ах,—вскричал Инглвуд, в каком-то припадке юмора отступая назад,—заметил ли я в нем вообще что-нибудь, кроме странностей?

— Заметили ли вы, — с несокрушимым упорством продолжал допрашивать Мун,—что за все это время Смит так много сделал и так мало сказал? В начале

его пребывания у нас его речь была отрывиста, сбивчива, точно он не привык говорить. Но если он не говорил, он действовал: малевал красные цветы на черных платях или кидал желтые чемоданы на траву. Я утверждаю, что его громадная зеленая фигура — символична, как любая зеленая фигура, нарисованная на какой-нибудь восточной стене.

— Дорогой мой Майкэл, — вскричал Инглвуд с раздражением, которое росло по мере нарастания бури, — вы договорились до полного вздора...

— Я думаю о том, что случилось сейчас, — уверенным тоном продолжал Мун. — Этот человек молчал целыми часами; и все же он говорил беспрерывно. Он пустил из револьвера три пули, а потом без сопротивления вручил его нам, между тем он мог стрелять и отправить всех нас на тот свет. Этим он хотел возмозжно нагляднее выразить свое полное доверие к нам. Он желал, чтобы мы его судили. Он выразил это своею неподвижною позою, покуда мы спорили о нем. Он хотел показать нам, что находится посреди нас по своей собственной воле и что, стоит ему пожелать, он может спастись побегом. И это он показал с величайшею наглядностью — своим бегством в кэбе и возвращением назад. Инносент Смит не безумец — он ритуалист. Он желает изъясняться не словами, а с помощью рук и ног. «Моим телом я поклоняюсь тебе», — как говорится в свадебном богослужении. Я начинаю понимать старинные песни и мистерии. Теперь я знаю, почему плакальщики на похоронах были немые; теперь я знаю, почему играющие в пантомимах были молчаливы, как мумии. Их тела, их фигуры становились символами. Бедный Смит, строго говоря, желает изображать из себя аллегорию. Все им совершенное в этом доме — неистово,

как военный танец, но в то же время молчаливо, как картина.

— Насколько я понял, вы находите,—недоверчиво проговорил его собеседник,—что мы должны доискиваться смысла во всех этих преступлениях, как ищут смысла в раскрашенных каракулях иероглифов. Но даже если согласиться с тем, что они имеют какой-то смысл, то... господи боже мой!

На повороте дорожки он невольно поднял глаза вверх к луне, которая стала теперь еще ярче и больше, и вдруг увидел на стене громадную полу-человеческую фигуру. Так резко выделялась она в лунном сиянии, что с первого взгляда трудно было даже подумать, что она чуждого; сгорбленные плечи и волосы, стоявшие дыбом, придавали ей скорее всего вид колоссальной кошки. Сходство с кошкой стало еще сильнее, когда фигура вскочила и легко помчалась вперед по стене. Понемногу она стала похожа на павиана: такие же массивные плечи и маленькая опущенная книзу головка. Добежав до какого-то дерева, она с чисто обезьяньей ухваткой вспрыгнула на ветку и скрылась в листве. Поднявшийся вихрь качал из стороны в сторону каждый кустик в саду, и еще труднее стало судить о том, человек ли это существо, или обезьяна; непрерывно движущиеся конечности этого существа слились с бесчисленными непрерывно движущимися ветками.

— Кто это?—прокричал Артур.—Кто вы такой? Вы Инносент?

— Не совсем ¹⁾,—донесся какой-то неясный голос из листвы.—Однажды я стянул у вас перочинный ножик.

¹⁾ Инносент по-английски значит невинный, невиновный. Вопрос Инглуда можно было понять так: невиновны ли вы?

Ветер свирепел и кидал в разные стороны дерево, в густой листве которого сидел человек; дерево металось, как в тот золотой и веселый полуденный час, когда этот человек появился впервые.

— Но вы Смит?—словно в предсмертной тоске спросил Инглвуд.

— Почти,—снова донесся голос с метавшегося под ветром дерева.

— Но должно же быть у вас какое-нибудь настоящее имя!—в отчаянии вскричал Инглвуд.—Должны же вы называться как-нибудь.

— Называйте меня как-нибудь, — прогремело гнущееся темное дерево, точно все десять тысяч листьев его говорили хором, одновременно. — Я называю себя Роланд-Оливер-Исайя-Шарлемань-Артур-Гильдебранд-Гомер-Дантон-Микель-Анджело-Шекспир-Брэксир...

— Но послушайте вы, живой человек!..—в полном изнеможении начал Инглвуд.

— Правильно! Правильно!—ревом пронесся ответ с метавшегося в разные стороны дерева,—это мое настоящее имя.

Инносент отломал от дерева ветку, и два-три осенних листа, шурша, полетели вдаль, чернея на фоне луны.

ЧАСТЬ II

Разгадки Инносента Смита

Глава I

ОКО СМЕРТИ, ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В УБИЙСТВЕ

Столовая была наскоро приспособлена для заседания Верховного Судища «Маяка» и разукрашена как можно пышнее, от чего она сделалась еще уютнее прежнего. Большая эта комната была как бы разбита на маленькие каютки, отделенные друг от друга перегородками не выше пояса—вроде тех перегородок, которые устраивают дети, когда играют в лавку. Эти перегородки были воздвигнуты Моисеем Гулдом и Майкэлом Муном (двумя наиболее активными участниками этого знаменитого процесса), при чем материалом послужила им самая обыкновенная мебель. Они поставили на одном конце, у длинного обеденного стола, огромное садовое кресло, осенили его сверху ветхим, изодранным шатром, или зонтиком, тем самым, который был рекомендован Инносентом для коронационного балдахина. Внутри этой машины восседала на подушках грузная миссис Дьюк, и,

судя по выражению ее лица, ее сильно клонило ко сну. У другого конца стола на своеобразной скамье подседимых сидел обвиняемый Смит, тщательно изолированный от внешнего мира квадратом легеньких стульев, принесенных из спальни, хотя любое из них он мог бы выбросить за окно одним пальцем. Его снабдили перьями и бумагой; в течение всего процесса он с большим удовольствием мастерил из этой бумаги бумажные кораблики, бумажные стрелы и бумажные куклы. Он ни разу не сказал ни слова и даже не поднял глаз; казалось, он чувствовал себя на суде так же беззаботно, как ребенок на полу в своей детской, где нет ни одного человека.

На длинной кушетке были поставлены стулья, а на стульях, спиной к окну, разместились три девушки—Мэри Грэй посредине. Получилась не то скамья присяжных, не то палатка королевы красоты, восседающей на рыцарском турнире.

На столе, на самой середине, воздвигнут был Муном невысокий барьер из восьми томов «Добрых Слов» ¹⁾, чтобы обозначить ту нравственную преграду, которая разделяла спорящие стороны. По правую сторону стола сидели оба представителя обвинения, доктор Пим и мистер Гулд. Сзади них—баррикада из книг и документов, главным образом солидные труды по криминологии.

В свою очередь и защитники Смита, Майкэл Мун и Артур Инглвуд, были вооружены книгами и бумагой; но так как весь их научный багаж состоял из нескольких истрепанных желтых книжонок Уйда и Уилки Коллинза, то нельзя было не признать, что мистер Мун действовал в данном случае слишком уж небрежно и самоуверенно.

¹⁾ «Добрые Слова»—религиозно-нравственный журнал, издававшийся с 1860 года священником.

Что же касается доктора Уорнера, истца и потерпевшего, то Мун сначала предполагал усадить его в угол за высокую ширму, считая неделикатным требовать от Уорнера его личного присутствия в суде, при чем в частном разговоре дал ему, однако, понять, что суд будет смотреть сквозь пальцы, если он иногда выглянет из-за прикрытия. Но доктор Уорнер не был способен оценить это рыцарское предложение, и после некоторых переговоров и пререканий ему было предоставлено кресло с правой стороны стола на одной линии с его законными защитниками.

Первым выступил перед этим солидным трибуналом доктор Сайрус Пим. Он пригладил рукой свои медово-желтые волосы, заправил их за уши и открыл заседание. Его речь была ясна и даже сдержанна; образные выражения, встречавшиеся в ней, обращали на себя внимание лишь благодаря той непостижимой внезапности, с которой они появлялись; но таково уж красноречие американских ораторов.

Он опустил концы своих десяти тонких пальцев на стол, закрыл глаза и открыл рот.

— Прошло то время,—сказал он,—когда убийство рассматривалось, как моральный и индивидуальный поступок, имеющий значение отчасти для убийцы, отчасти для убитого. Наука глубоко...—тут он остановился, подняв кверху плотно сжатые пальцы—большой и указательный, словно удерживая за хвост ускользавшую мысль, потом прищурил глаза и произнес:—модифицировала и, повторяем, сильно модифицировала наши взгляды на явление смерти. В темные, суеверные века под смертью разумели прекращение жизни, катастрофическое и даже трагическое. Ее часто окружали торжественными обрядами. Однако настала более светлая эра, и теперь мы

видим в смерти явление неизбежное, универсальное, часть того великого, умирительного, трогающего сердце процесса, который мы для удобства называем законом природы. Точно таким же образом мы научились теперь смотреть на убийство точки зрения общественной. Поднимаясь над чисто личными ощущениями человека, насильственно лишаемого жизни, мы рассматриваем убийство, как часть великого целого, мы видим тот пестрый круговорот жизни, который, даруя нам золотую жатву и золото-бородых жнецов, дарует вечное успокоение как убийцам, так и убиенным...

Он опустил глаза, несколько растроганный собственным красноречием, слегка откашлялся, с бостонской изысканностью прикрывая рот четырьмя тонкими пальцами, и продолжал:

— Наша более правильная и гуманная точка зрения только в одном отношении может коснуться того преступного субъекта, которого вы видите перед собой. Лишь благодаря капитальному труду доктора из Мильвоки, нашего великого мудреца Зонненшейна, труду, озаглавленному «Тип-Истребитель», личность этого человека не представляет для нас загадки. Смит не просто убийца, он убийца по призванию. Люди этого рода таковы, что вся их жизнь (беру на себя смелость сказать: все их нормальное состояние) бесконечная цепь убийств. Некоторые доказывают, что в его страсти к убийствам нет ничего ненормального; напротив, полагают, что это проявление более высокой, более совершенной души. Мой близкий старинный друг, доктор Балджер, который держал у себя хорьков—(тут Мун внезапно закричал «ура» и так быстро принял прежнее трагическое выражение лица, что миссис Дьюк, ища глазами нарушителя тишины, стала смотреть в противо-

положную сторону), — который в интересах науки держал у себя хорьков, — несколько более внушительным голосом продолжал доктор Пим, — полагает, что жестокость этих животных не вызывается их жизненными потребностями, но бесспорно существует сама по себе, самоцельно. Не знаю, верно ли это в отношении хорьков, но в отношении к нашему обвиняемому это несомненная истина. В других его преступлениях вы заметите хитрость маниака, но его кровавые деяния просты и естественны, как солнце, как мировые стихии. Они дышат здоровьем — роковым, губительным здоровьем! Не раньше, чем остановятся осянные радугами водопады нашего дикого запада, остановится та естественная, первосущная сила, которая послала его в мир для убийств. Никакая обстановка, оборудованная научнейшим способом, не могла бы его исправить. Поместите этого человека в серебристо-безмолвный покой тишайшего монастыря, и он посохом или стихарем тотчас же совершит убийство. Заприте его в солнечной детской вместе с нашей бестрепетной англо-саксонской детворой, он и там найдет удобный случай задушить какогонибудь младенца скакалкой или размозжить ему голову кубиком. Обстоятельства могут быть благоприятны, надежды сильны, режим великолепен, но великая стихийная страсть Инносента Смита — жажда крови — вспыхнет в определенный час и взорвется, подобно адской машине...

Артур Инглвуд с любопытством взглянул на громадного субъекта, сидевшего на том конце стола и натягивавшего на бумажную фигурку бумажную шляпу, затем снова перевел взгляд на доктора Пима, который заканчивал свою речь уже в более спокойном тоне.

— Нам остается теперь, — говорил он, — представить очевидные доказательства его прежних покушений на

убийства. По соглашению, заключенному нами с трибуналом и с представителями защиты, мы имеем право обнародовать подлинные письма свидетелей этих происшествий. Защита может свободно осмотреть эти письма. Из множества подобных злодеяний мы остановились на одном, наиболее очевидном и гнусном. Поэтому я без дальнейших проволочек предлагаю своему младшему коллеге, мистеру Гулду, прочесть два письма—одно от проректора, а другое от швейцара Брэксспирского Колледжа в Кэмбриджском университете.

С легкостью пружинного бесенка, выпрыгивающего из детской коробочки, Гулд вскочил с места, держа в руках внушительных размеров бумагу. Вид у него был лихорадочно важный. Он начал пронзительным голосом, резким, как петушиный крик, — с простонародным лондонским акцентом.

— «Сэр, я — проректор Брэксспирского Колледжа в Кэмбридже...»

— Помилуй бог! — пробормотал Мун, отпрянув назад, как от ружейного выстрела.

— «Я проректор Брэксспирского Колледжа в Кэмбридже», — провозгласил неунывающий Моисей, — «и я всецело присоединяюсь к данной вами оценке поведения несчастного Смита. Начну с того, что мне по долгу службы приходилось неоднократно делать Смиты выговоры за всяческие нарушения школьной дисциплины в течение всего университетского года, но наконец я лично стал очевидцем последнего его проступка, положившего предел его пребыванию в Колледже. Произошло это так. Я проходил мимо дома, где живет мой глубокоуважае-

мый друг, ректор Брэксспирского Колледжа. Дом стоит в стороне от Колледжа и соединен с ним двумя или тремя весьма древними арками, которые, подобно мостам, возвышаются над узкой полоской воды, соединенной с рекою. К моему величайшему удивлению я узрел, что мой знаменитый друг висит в воздухе и судорожно цепляется за одно из вышеописанных каменных сооружений. Его поза не оставляла никакого сомнения в том, что он страшно испуган. Немного спустя, я услышал два очень громких выстрела и ясно разглядел злополучного студента Смита, высунувшегося далеко вперед из ректорского окна и снова целившегося из револьвера в свою жертву. Увидев меня, Смит разразился громким смехом (в котором слышалась смесь наглости с безумием) и, казалось, прекратил свои бесчинства. Я послал нашего швейцара за лестницей, при помощи которой ему удалось выволить ректора из мучительного положения. Смит был исключен из университета. Приложенная фотографическая карточка изображает группу членов Университетского Клуба Стрелков. В этой группе находится Смит. Такова была его наружность во время его пребывания в Колледже.

Остаюсь ваш покорный слуга

Амос Боултер».

— Второе письмо,—продолжал с торжествующим видом Гулд,—от швейцара. Оно кратко и не отнимет у вас много времени:

«Милостивый Государь.

Истинная правда, что я швейцар Брэксспирского Колледжа и что я помог ректору спуститься на землю, когда тот молодой человек стрелял в него, как мистер

Боултер и написал в своем письме. Стрелявший молодой человек тот же, что изображен на фотографии, которую вам посылает мистер Боултер.

С глубоким уважением

Самуэл Баркер».

Гулд вручил оба письма Муну, который стал их рассматривать. Но оказалось, что Гулд огласил эти письма правильно, за исключением вокальных отклонений¹⁾, Мун не нашел никаких других; подлинность обоих писем была несомненна. Мун передал их Инглевуду, тот, не проронив ни звука, отдал их обратно Моисею Гулду.

Доктор Пим последний раз встал с места.

— Я изложил все, что относится к первому обвинению в целом ряде предумышленных убийств,—заявил он.—Я кончил.

Затем поднялся Майкэл Мун, представитель защиты, с подавленным видом, который не сулил ничего хорошего тем, кто симпатизировал узнику. Он не намерен, говорил Майкэл Мун, следовать за доктором в область абстракций.

— Я не могу быть агностиком, ибо не обладаю достаточным количеством знаний, — заявил он усталым голосом, — и при таких словопрениях могу основываться только на известных и общепринятых положениях. В науке и в религии таких положений немного, и они достаточно ясны. Все, что говорят священники, недоказуемо. Все, что говорят доктора — опровергнуто. В этом единственная разница между наукой и религией, и она всегда была и будет. Однако эти новейшие открытия

¹⁾ Мы не воспроизводим в переводе тех искажений, которым подверглись письма в чтении Моисея Гулда.

до известной степени трогают меня, — продолжал он, с грустью рассматривая свои башмаки. — Они напоминают мне мою старую, милую бабушку, которая смолоду так увлекалась ими! И это трогает меня до слез. Как сейчас вижу старое ведро у садовой ограды, а за оградой шелестящие тополи...

— Стоп! Остановите ваш омнибус! — вскричал мистер Мосей Гулд, вскакивая и вспотев от возбуждения. — Вы знаете, мы предоставляем защите свободное поле, как дженты ¹⁾. Но ни один джент не захочет тащиться до ваших шелестящих тополей.

— Чорт возьми! — сказал обиженным голосом Мун, — если у доктора Пима есть старый приятель с хорьками, почему же у меня не может быть старой бабушки с тополями?

— Без сомнения, — твердо сказала миссис Дьюк даже с оттенком авторитетности в голосе, — мистер Мун может иметь такую бабушку, какая ему понравится.

— Ну, насчет того, чтобы эта бабушка очень мне нравилась, — начал Мун, — я... но возможно, что, как вы говорили, это и не имеет прямого отношения к делу. Повторяю, я не желаю углубляться в область абстрактных суждений; мой ответ доктору Пиму будет прост и строго конкретен. Доктор Пим исследовал только одну сторону психологии убийств. Если верно то, что существует тип людей, имеющих врожденную склонность к убийству, то не менее верно, — тут он понизил голос и заговорил с подавляющим спокойствием и серьезностью, — не менее верно, что существует тип людей, имеющих врожденную склонность к тому, чтобы их убивали. Неужели неправдоподобна гипотеза, что доктор Уорнер

¹⁾ Джент — сокращенная вульгарная форма слова джентльмэн.

есть именно такой человек? Это мое утверждение далеко не голословно, так же, как не голословно утверждение моего ученого друга. Все это изложено в монументальном труде доктора Муненшейна «Уничтожаемый Доктор» — с диаграммами, изъясняющими все те различные способы, путем которых люди, подобные доктору Уорнеру, распадаются на первичные элементы. При свете этих фактов...

— Стоп, стоп, стоп! Остановите омнибус! — опять закричал Моисей, вскакивая с места и жестикулируя в сильнейшем возбуждении. — Мой принципал имеет что-то сказать! Мой принципал желает говорить.

Доктор Пим поднялся с побелевшим, почти сердитым лицом.

— Я строжайшим образом ограничил себя, — сказал он, — упоминанием лишь тех книг, которые я в любое время могу представить суду. «Тип-Уничтожитель» Зонненштейна лежит на столе передо мной, и защита может познакомиться с этой книгой во всякую минуту. Где же находится необычайная книга об уничтожаемом докторе, на которую ссылается мистер Мун? Существует ли эта книга? Может ли защитник представить ее?

— Представить ее? — с глубоким презрением ответил ирландец. — Я представлю ее в недельный срок, если вы заплатите за чернила и бумагу.

Доктор Пим снова вскочил. — Наша авторитетность базируется на множестве точных данных, — сказал он. — Она ограничена областью, в которой вещи могут быть исследованы и осязаемы. Мой оппонент должен по крайней мере согласиться с тем, что смерть — это факт, доказанный опытом.

— Не моим, — с грустью заметил Мун и покачал

головой. — Я ни разу в течение всей моей жизни не проделал подобного опыта.

— В таком случае... — сказал доктор Пим и сел на место в таком раздражении, что все его бумаги захрустели.

— Итак, мы видим, — резюмировал Мун все тем же меланхолическим тоном, — что человек, подобный доктору Уорнеру, подвержен, по таинственным законам эволюции, влечениям к тому, чтобы его убивали. Нападение на моего клиента, если оно действительно имело место, — не единичный случай. У меня находятся в руках письма от многих знакомых доктора Уорнера. Знакомые единодушно свидетельствуют, что один вид этого замечательного человека вызывал в них кровожадные желания. Следуя примеру моих ученых друзей, я прочту здесь только два письма. Первое — от честной, трудолюбивой матроны, живущей на Гарроу-Роод:

«Мистер Мун, Сэр. — Да, я запустила в него кастрюлей; ну так што? Больше нечем было запустить, патаму што все легкие весчи в закладе, и если доктор Уорнер не хочит, штоп в него бросали кастрюлями, пусть снимает свою шляпу в гостиной приличной женщины, и скажите ему, штоп не улыбался и не отпускал своих шуточек.

С уважением *Ханна Майлз*».

— Второе письмо от довольно известного дублинского врача, с которым доктор Уорнер однажды участвовал в консультации. Он пишет следующее:

«Дорогой Сэр. — Инцидент, о котором вы упоминаете, вызывает во мне теперь глубокое сожаление, но

тем не менее навсегда останется для меня загадкой. Я не психиатр по специальности; я был бы искренно рад посоветоваться с психиатром относительно моей совершенно неожиданной и, надо сознаться, почти автоматической выходки. Нельзя сказать, что я «потянул доктора Уорнера за нос», — это было бы не совсем точно. Но что я ударил его кулаком по носу — в этом я охотно сознаюсь, — излишне прибавлять, с какими сожалениями; провести кого бы то ни было за нос мне представляется актом, предполагающим некоторую обдуманность поступка и точность в выполнении его, в чем я не могу себя упрекнуть. По сравнению с этим удар по носу был чисто внешним, мгновенным и естественным жестом.

С глубоким почтением, уважающий вас

Бэртон Лестрэндж».

— У меня есть бесчисленное множество других писем, и все они неопровержимо свидетельствуют об этих широко распространенных чувствах по отношению к моему достопочтенному другу. Вследствие этого я полагаю, что доктор Пим в своем исследовании должен был осветить и эту сторону вопроса. Мы имеем дело, как правильно заметил доктор Пим, с силами природы. Скорее иссякнут струи наших лондонских фонтанов, чем иссякнет предрасположение доктора Уорнера к тому, чтобы его убивали. Поместите этого человека в собрание квакеров, в среду самых мирных христиан, и его немедленно забьют до смерти — палками из шоколада! Поведите его к ангелам Нового Иерусалима, и его забросают до смерти драгоценными камнями. Обстоятельства могут быть великолепны и блистательны, случай—

душеспасителен, жнецы — желтобороды, а доктор — все-знающ, водопад может сверкать всеми цветами радуги, англо-саксонская детвора может быть бестрепетной, — и все же, несмотря ни на что, великое и простое стремление доктора Уорнера к тому, чтобы его укокошили, будет проявляться на каждом шагу, пока не завершится удачным и торжественным результатом!

Окончание своей речи он произнес, как будто сильно волнуясь, но еще более сильное волнение заметно было на противоположной стороне. Доктор Уорнер перегнулся всем своим большим туловищем через маленького Гулда, так что чуть не задавил несчастного, и возбужденно перешептывался с доктором Пимом. Тот многократно кивал головой, затем поднялся с неподдельно-суровым выражением лица.

— Лэди и джентльмэны, — возбужденно воскликнул он, — как сказал мой коллега, мы с удовольствием предоставляем самую широкую свободу слова представителям защиты — если вообще это будет защита. Но мистер Мун, кажется, воображает, что он явился сюда для острот — очень забавных острот, смею сказать, — но совершенно непригодных к оправданию его клиента. Он подрывает науку. Он подрывает общественную популярность доктора Уорнера. Он затрагивает мой литературный стиль, который, кажется, не угодил его высоко развитому европейскому вкусу. Но какое могут иметь отношение к делу все эти выпады мистера Муна? Смит просверлил две дыры в шляпе моего клиента. Двумя дюймами ниже, и он просверлил бы две дыры в голове Уорнера. Все шутки в мире, как бы остроумны они ни были, не смогут заделать эти зловещие дыры и не принесут никакой пользы защите.

Смущенный Инглвуд опустил глаза, как бы потрясен-

ный очевидностью этих истин, но Мун смотрел на своего оппонента, точно сквозь сон.

— Защита? — сказал он дремотно. — О, к защите я еще не приступал!

— Конечно, вы еще не приступали к ней, — с жаром подхватил Пим, и шопот одобрения пронесся на его стороне, тогда как противная сторона воздерживалась от выражения своих чувств. — Если вообще возможна защита, что с самого начала кажется сомнительным, то...

— Пока вы еще не сели, — прервал его Мун тем же сонным голосом, — разрешите мне предложить вам один вопрос.

— Вопрос? Конечно! — подхватил Пим. — Ведь мы отчетливо договорились заранее, что, в виду невозможности допроса свидетелей, мы можем допрашивать друг друга, сколько угодно. Мы со своей стороны приветствуем все эти допросы.

— Мне кажется, вы упоминали, — с рассеянным видом продолжал Мун, — что ни одна из пуль, выпущенных нашим подсудимым, не задела доктора?

— К счастью для науки! — галантно воскликнул Пим, — слава богу, нет!

— Все же они были выпущены на расстоянии нескольких шагов?

— Да, что-то около четырех шагов.

— И ни одна из пуль не задела ректора, хотя они также были выпущены на него на очень близком расстоянии?

— Это — так! — с важным видом подтвердил свидетель.

— Мне кажется, — сказал Мун, подавляя легкую зевоту, — этот ваш проректор упоминал, что Смит один из лучших стрелков во всем университете?

— Ну, что касается этого... — начал было Пим после минутного молчания.

— Второй вопрос, — коротко отрезал Мун. — Вы сказали, что за нашим клиентом числятся еще другие обвинения такого же рода. Почему вы не сочли нужным поведать о них суду?

Американец снова опустил концы своих пальцев на стол.

— В этих случаях, — отчетливо проговорил он, — у нас нет показаний посторонних свидетелей, как в кэмбриджском преступлении; имеются лишь показания самих потерпевших.

— Почему же вы не обнародовали их показаний?

— Что касается потерпевших, — сказал Пим, — то мы натолкнулись на некоторые затруднения, неясности, и...

— Не хотите ли вы этим сказать, — продолжал Мун, — что ни один из потерпевших не пожелал дать показания против обвиняемого?

— Ну, положим, это было бы слишком... — начал было тот.

— Третий вопрос, — оборвал его Мун с такой резкостью, что все вскочили с мест. — Вы прочли показания проректора, который услышал несколько выстрелов; но где же показания самого ректора, в которого стреляли? Ректор Брэксписского Колледжа жив; это джентльмэн, полный сил и здоровья.

— Мы обратились к нему с просьбой дать нам свои показания, — нервно ответил Пим, — однако эти показания были так эксцентричны, что мы, из уважения к прежним научным заслугам маститого ученого, решили не предавать их огласке.

Мун подался немного вперед. — Насколько я пони-

маю, вы хотите сказать, — спросил он, — что его показания были благоприятны для обвиняемого?

— Они могут быть поняты в этом смысле, — отвечал американский медик, — но, право, их вообще было трудно понять. Так или иначе, мы отослали их обратно.

— Значит, у вас в данный момент нет показаний, собственноручно подписанных ректором Брэкспирского Колледжа?

— Нет.

— Я только потому задал этот вопрос, — спокойно сказал Мун, — что они имеются у нас. Я кончаю свою речь и прошу моего помощника прочесть истинный отчет об этом деле — отчет, подлинность которого подтверждается собственноручною подписью ректора.

Артур Инглвуд поднялся со связкой бумаг в руках. Хотя он, как и всегда, имел какой-то слишком изысканный и смиренный вид, зрители сразу к своему удивлению почувствовали, что его выступление в общем более существенно, чем выступление его патрона. Он был одним из тех скромных людей, которые не говорят до тех пор, пока им не велят заговорить; но тогда они говорят хорошо. Мун был полной его противоположностью. Когда он был наедине с собою, его дерзкие выходы забавляли его, но в обществе они его конфузили: он чувствовал себя глупым, когда говорил, между тем как Инглвуд чувствовал себя глупым именно потому, что не мог говорить. Но когда он мог говорить, он говорил просто и хорошо, и самый процесс речи был для него естественным. Ничто во всем мире не казалось вполне естественным Майкэлу Муну.

— Как только что пояснил мой коллега, — начал

Инглвуд, — вся наша защита базируется на двух загадках, или, вернее, нелепостях. Первая нелепость такая. По всеобщему признанию, даже по тем показаниям, которые представлены противной стороной, бесспорно установлено, что обвиняемый Смит известен, как исключительно меткий стрелок. Однако в обоих упомянутых случаях он стрелял на расстоянии четырех или пяти шагов, сделал несколько выстрелов и ни разу не задел тех, в кого стрелял. Это и есть первое поразительное явление, на котором базируется наша аргументация. Второй пункт, как уже отметил мой коллега, заключается в любопытнейшем факте: нельзя отыскать ни одного лица, пострадавшего от этих приписываемых Смицу злодеяний, которое говорило бы от своего имени. За пострадавших говорят их подчиненные. Швейцары взбираются к ним по лестницам. Но сами они молчат. Лэди и джентльмены, я беру на себя объяснить вам и то, и другое: и загадку выстрелов, и загадку молчания. Прежде всего я прочту вам приложенное к отчету письмо, в котором выясняется истинный характер кэмбриджского инцидента, а затем прочту и самый документ. После этого у вас не останется никаких сомнений в невинности Смита. Препроводительное письмо таково:

«Дорогой Сэр!—Нижеприведенное представляет собою совершенно точное и довольно яркое описание инцидента, действительно имевшего место в Брэксписком Колледже. Мы, нижеподписавшиеся, не имеем никаких оснований приписывать составление отчета одному какому-нибудь автору. Дело в том, что письмо это продукт нашего совместного творчества, и у нас возникло даже некоторое разногласие относительно

кое-каких прилагательных. Но каждое слово отчета — несомненная истина.

Остаемся уважающие вас

Уилфред Эмерсон Имс,

Ректор Брэксспирского Колледжа.

Инносент Смит».

— Самый отчет, — продолжал Инглвуд, — гласит следующее:

«Славный английский университет расположен на такой крутизне, что он, так сказать, нуждается в подпорках и всевозможных мостах. Здание разделяется на несколько корпусов, полуоторванных друг от друга. Университет стоит над рекою. Река разделяется на рукава и образует множество мелких ручьев и каналов, так что в одном или двух уголках местность напоминает Венецию. Это сходство особенно ярко обнаруживается в тех местах, о которых здесь идет речь. Несколько висячих арок, или воздушных мостов, выступают из-под воды и соединяют Брэксспирский Колледж с жилищем ректора. Местность вокруг колледжей — ровная, и все же не производит впечатления равнины на человека, стоящего посреди всех этих зданий. В этой гладкой болотистой местности там и сям разбросаны блуждающие озера и стоячие реки. По этой причине, если можно так выразиться, схема горизонтальных линий переходит в схему вертикальных. Всюду, где вода, высота высоких зданий удваивается, и британский кирпичный дом становится Вавилонской башней. В блестящей незыблемой поверхности вод виснут дома вверх ногами.

Тучи кораллового цвета гнездятся в этой бездне на такой глубине, которая точно соответствует той высоте, на которой их оригиналы реют над миром. Каждый участок воды служит не только окном, но и небом. Земля разверзается под стопами людей бездонными перспективами воздуха, в которых птица могла бы проложить себе путь так же легко, как...»

Доктор Сайрус Пим поднялся, протестуя. Документы, представленные им, придерживаются лишь точно установленных фактов. Защита, говоря вообще, имеет неоспоримое право представить дело в каком ей угодно свете, но все эти малевания ландшафтов кажутся ему (доктору Сайрусу Пиму) абсолютно не относящимися к делу: — не будет ли представитель защиты настолько любезен, не сообщит ли нам, какое отношение к делу может иметь то обстоятельство, что тучи были кораллового цвета, или что река была зеркальной и тихой, или что птица могла себе проложить путь, неизвестно куда...

— Право, не знаю, — лениво приподнимаясь с места, сказал Майкэл Мун, — видите ли, вам до сих пор не известно, в чем заключается наша защита. Пока вы этого не поймете, всякую деталь можно считать относящейся к делу. Ну, положим, — внезапно вырвалось у него, словно в голову ему пришла новая идея, — положим, мы хотим доказать, что старик ректор болен дальтонизмом и не различает цветов. Положим, в него стрелял черный мужчина с белыми волосами, а он воображал, что в него стреляет белый мужчина с желтыми волосами. Подтверждение того, что облако было действительно и неоспоримо кораллового цвета, может быть фактом первостепенной важности.

В этом месте своей речи он остановился с такой серьезностью, которая вряд ли разделялась всеми присутствующими, и затем продолжал с прежним жаром:

— Или, положим, нам желательно установить, что ректор совершил самоубийство, что он вынудил Смита направить на него дуло револьвера, подобно тому, как Брут заставил своего раба направить на него острие меча. Но в таком случае возникает вопрос: мог ли ректор видеть себя совершенно ясно в стоячей воде? Стоячая вода была причиной многих тысяч самоубийств: человек видит себя в ней так отчетливо, так необычайно ясно.

— Не желаете ли вы установить,—с едкой иронией осведомился Пим,—что ваш подзащитный был редкостной птицей, ну, скажем — фламинго?

— Обвинение моего клиента в том, что он будто бы птица фламинго,—неожиданно строго проговорил Мун,—будет опровергнуто им самим.

Никто не понял, что сие должно было означать, и Мун с грозным видом опустил на стул. Инглвуд снова приступил к чтению своего документа:

— «Для мистика есть что-то бесконечно родное в такой стране отражений. Мистик ведь полагает, что два мира лучше одного. В высшем смысле, конечно, все наши идеи — отражения.

«Бесспорно справедливо, что двойные мысли — лучшие мысли. Животные не имеют двойных мыслей; только человек сознает раздвоенность мысли, как пьяница видит два фонарных столба. Только человек может увидеть собственную свою мысль вверх ногами, словно дом, отразившийся в луже. Эта двойственность мысли, подобная отражению в зеркале, — сокровеннейшая суть

человеческой философии. Таинственная, даже жуткая истина кроется в утверждении, что две головы лучше одной. Но обе они должны находиться на одном и том же туловище».

— Я знаю, с первого взгляда это кажется слегка трансцендентальным, — озираясь по сторонам и как бы извиняясь, заметил Инглвуд, — но видите ли, этот документ — результат совместного творчества: он составлен профессором и...

— Пьяницей, а? — подсказал Моисей, решивший пока что позабавиться.

— Я склонен думать, — продолжал Инглвуд спокойным критическим тоном, — что эта часть, пожалуй, написана профессором. Я лишь обращаюсь к суду с указанием, что, хотя самый документ бесспорно точен, он все же в тех или иных местах носит на себе следы сотрудничества двух авторов.

— В таком случае, — сказал доктор Пим, откидываясь на спинку стула и фыркая, — я никак не могу согласиться с тем, что две головы лучше одной.

— «Нижеподписавшиеся не находят нужным касаться родственных друг другу проблем, так часто обсуждавшихся в комиссиях по реформе Высшей Школы: двоится ли в глазах у профессоров оттого, что они пьяны, или они пьяны оттого, что все у них двоится в глазах. Они желают ограничиться исследованием особой, чрезвычайно серьезной темы; и тема эта — лужа. Что такое (спрашивают нижеподписавшиеся у самих себя) — лужа? Лужа отражает бесконечность и полноту света; и тем не менее, если произвести объективный анализ, лужа — полоска мутной воды, которая тонким слоем лежит на грязи. Оба великих исторических английских университета обладают этим ярким — внешним и

отраженным — блеском. Они отражают бесконечность. Они полны света. И тем не менее, или вернее, с другой стороны, это — лужи. Лужи, лужи, лужи. Нижеподсавшиеся лица просят извинить их пафос, неразлучный со строгой убежденностью».

Инглвуд не обратил никакого внимания на несколько оторопелое выражение лиц у присутствующих и продолжал с необычайно веселым видом:

— «Такого рода мысли, однако, не приходили в голову студенту Смиту, когда он пробирался среди узких каналов и сияющих дождевых канав, куда стекала вода, омывавшая Брэксспирский Колледж. Пришли бы ему в голову эти мысли, он почувствовал бы себя гораздо счастливее. К несчастью, он не знал, что академический разум отражает бесконечность и полон света только потому, что он неглубок и недвижим. С его точки зрения поэтому нечто торжественное и даже недоброе заключалось в бесконечности, окружавшей его. Он находился как раз в самом центре загадочно-яркой звездной ночи; звезды были наверху, и звезды были внизу. И по какому-то недоброму наитию молодому Смиту почудилось, будто небо у него под ногами еще более глубоко, чем небо у него над головой; странная мысль пронзила его: ему пришло в голову, что, если бы он мог сосчитать звезды, то внизу их оказалось бы больше, чем на небе.

«Шагая по тропинкам и мостам, он испытывал какую-то тревогу, которая овладевала им с возрастающей силой, словно взбирался он по черной и ветхой лесенке на Эйфелеву башню Космоса. Звезды для него, как и для большинства образованных юношей той эпохи, представляли собою нечто жестокое. Хотя каждую ночь

мерцали они на великом куполе неба, они все же были огромной и отвратительной тайной. Они вскрывали наготу природы; они были отблеском рычагов, железных колес и блоков, которые таились за сценой. Ибо молодежь той печальной эпохи была уверена, что бог всегда исходит от машины. Эти юноши не знали, что на самом-то деле всякая машина от бога. Короче говоря, все они были тогда пессимистами, и в звездном мерцании им чудилась ярость. Их вселенная была черная с белыми пятнами.

«Смит оторвал свой взгляд от сияющих луж и с облегчением взглянул на сияющие небеса и огромное черное здание колледжа. Единственный не звездный свет шел из под ярко-зеленой занавеси — из окошка в верхнем этаже; этот свет свидетельствовал, что там постоянно работает до самой зари доктор Эмерсон Имс, принимая своих любимых учеников и друзей в любой час ночи. И действительно, именно к его жилищу и направлялся одержимый меланхолией Смит. Смит слушал лекцию доктора Имса в первую половину утра; вторую половину провел он в манеже — стреляя в цель и упражняясь в фехтовании. Он безумно шевелил мозгами всю первую половину дня и вторую половину посвятил размышлениям, ленивым, но еще более безумным. Потом он пошел ужинать и много шумел за столом. Оттуда он отправился в клуб для дебатов, где его поведение оказалось несносным. Тоска не покидала его. И уже по дороге домой, когда он направлял свои стопы к себе в берлогу, он вспомнил об одной эксцентрической выходке своего друга и учителя, ректора Брэксспирского Колледжа, и принял отчаянное решение нанести этому джентльмену визит на его частной квартире.

«Эмерсон Имс был эксцентричен во многих отно-

шениях, но его заслуги были известны всему миру. Вряд ли университет мог обойтись без него, и, помимо того, стоит лишь профессору закоснеть в одной из своих дурных привычек, как она тотчас становится частью Британской Конституции. Дурные привычки Эмерсона Имса заключались в том, что, во-первых, он не спал по ночам, а во-вторых, изучал Шопенгауера. По внешности это был тощий, нескладный мужчина с белокурой заостренной бородкой. Годами он был немногим старше своего ученика; но веками был значительно старше, так как, во-первых, у него было европейское имя, а во-вторых, у него было плешивое темя.

«— Я осмелился явиться к вам в такой неурочный час, — сказал Смит, который казался очень большим человеком, старавшимся притвориться маленьким, — так как я пришел к заключению, что жизнь — великая мерзость. Мне известны все аргументы мыслителей противоположного лагеря — епископов, агностиков и тому подобных людей. И зная, что вы — величайший из ныне живущих авторитетов по части пессимистической мысли...

«— Всякая мысль, — сказал Имс, — есть пессимистическая мысль. Всякий истинный мыслитель — пессимист.

«После некоторой паузы — не первой, так как вся эта мрачная беседа длилась несколько часов, перемежаясь то молчанием, то цинизмом, — ректор продолжал говорить со свойственным ему томным красноречием:

«— Все дело в неправильном расчете. Мотылек летит на свечу, так как ему неизвестно, что подобная игра не стоит свеч. Оса попадает в варенье, от души желая, чтобы варенье попало в нее. Точно таким же образом заурядные люди жаждут радостей жизни, как водки, не понимая по глупости, что за жизнь приходится платить слишком дорого. Что им никогда не найти счастья, что

они даже не знают, как его искать, доказывается парализующей нелепостью и гнусностью каждого их поступка. Те аляповатые и негармоничные краски, к которым они чувствуют такое пристрастие, являются в сущности криками боли. Взгляните на кирпичные дачи за колледжем на том берегу. Там есть одна, с безобразными пятнистыми шторами. Вы только посмотрите на нее! Подите посмотрите на нее!

«— Конечно,— продолжал он с задумчивым видом,— один или два человека видят эту истину во всей ее наготу—и сходят с ума. Заметили вы, что сумасшедшие либо стремятся уничтожить какой-нибудь предмет, либо (если в них сохранился рассудок) уничтожить самих себя? Безумный—это человек за сценой, человек, который блуждает среди театральных кулис. Он только открыл не ту дверь, но пришел туда, куда надо. Он видит вещи с правильной точки зрения. Но остальной мир...

«— О да, чорт побери весь мир!—вскричал угрюмый Смит, в тупом отчаянии стукнув кулаком по столу.

«— Но раньше проклянем этот мир,—спокойно сказал профессор,—а затем уже уничтожим его. Всбесившийся щенок стал бы, по всей вероятности, цепляться за жизнь, пока мы убивали бы его, но мы должны убить его—из жалости. Таким же образом мог бы освободить нас от страданий неведомый всезнающий бог. Он должен был бы убить нас на месте.

«— Почему же он не убивает нас на месте?—спросил студент Смит и машинально сунул руки в карманы.

«— Он умер сам,—ответил философ,—и в этом отношении ему можно только позавидовать... Для того, кто мыслит,—продолжал Имс,—ясно, что радости жизни, тривиальные и часто безвкусные, не более, как лукавые

приманки, имеющие целью завлечь нас в застенки для того, чтобы подвергнуть нас пыткам. Все мы видим, что для мыслящего человека простое уничтожение — это... Но что вы делаете?.. Вы с ума сошли?.. Спрячьте эту вещь.

«Доктор Имс повернул усталую голову и увидел перед собой маленькое круглое отверстие с шестисторонним стальным цилиндром. Словно железный глаз, это отверстие глядело на него. В те долгие, как вечность, мгновения, когда разум был ошеломлен, Эмерсон Имс не мог даже сообразить, что это такое. Затем он разглядел шестизарядный барабан и взведенный курок револьвера, а позади раскрасневшееся широкое лицо Инносента Смита, которое не только не выражало гнева, но, напротив, казалось добрее, чем раньше.

«— Я помогу вам, мой милый, выбраться из вашей дыры,— с суровой нежностью произнес Смит.— Я освобожу щенка от страданий.

«Эмерсон Имс стал пятиться к окну.

«— Вы хотите убить меня? — вскричал он.

«— Я не стал бы оказывать такое одолжение первому встречному, — продолжал растроганным голосом Смит, — но мы оба, вы и я, так дружески сошлись этой ночью. Я знаю теперь все ваши тревоги и знаю единственное лекарство от них.

«— Уберите эту вещь! — заорал во весь голос ректор.

«— Одна минута, и все будет кончено, — с видом сердобольного дантиста сказал ему Смит. И так как ректор бросился к окошку и балкону, то его благодетель твердыми шагами, все с тем же добрым выражением лица, последовал за ним.

«Оба они были, пожалуй, удивлены, увидев, что серовато-белое утро уже наступало. Впрочем, один из них

был во власти более сильных чувств, и ему было не до удивления. Брэксспирский Колледж одно из тех немногих зданий, которые носят на себе подлинные следы готической орнаментировки. Как раз под тем балконом, где стоял ректор Имс, была расположена висячая арка, испещренная грубыми изображениями серых зверей-демонов, заросшая мхом и омытая дождями. Один неуклюжий, но очень отважный прыжок, и Эмерсон Имс был уже на ветхом мосту, так как в бегстве видел единственное спасение от преследований сумасшедшего. Он сел верхом на выступ — в профессорской мантии, болтая в воздухе длинными, тонкими ногами и обдумывая, как избежать дальнейшей опасности. Белесоватое утро осветило перед ним (так же, как и под ним) тот мир вертикальной бесконечности, о котором было упомянуто выше, при описании маленьких озер вокруг Брэксспира. Опустив глаза и увидев повисшие в прудах шпицы и печные трубы, они оба, и Смит, и профессор, почувствовали себя одинокими в беспредельном пространстве. Им казалось, словно, находясь на Северном Полюсе, они так нагнулись над землей, что увидели Южный Полюс.

«— Помогите! — крикнул Брэксспирский ректор. — Помогите!

«— Щенок цепляется за жизнь, — сказал Смит с выражением жалости во взгляде, — бедный маленький щенок сопротивляется. Какое счастье, что я мудрее и добрее, чем он. — И он поднял свое оружие в уровень с верхней частью лысого черепа Имса.

«— Смит! — сказал философ, внезапно со всей ясностью представив себе ужас своего положения. — Я сойду с ума.

«— Взгляните в таком случае на ваше положение

с правильной точки зрения,—посоветовал Смит, издав легкий вздох.—Ведь сумасшествие в лучшем случае лишь паллиатив. Единственное верное средство — операция, операция всегда удачная — смерть.

«Пока они говорили, взошло солнце. С искусством великого художника оно быстро раскрасило все предметы вокруг. Флотилия крохотных голубино-серых облачков, пльвших по небу, сделалась розовой. Разноцветными красками заискрились верхушки различных зданий университетского городка; солнце выхватывало из сумрака то зеленую эмаль на башенке, то багровую черепицу дачи; тут медные украшения художественного магазина, там—синие, как море, сланцы ветхой, крутой церковной крыши. Глаз невольно приковывался к этому зрелищу, особенно выпученный глаз Эмерсона Имса, когда он прощальным взором окинул свое последнее утро. Сквозь узкую расселину между черной бревенчатой таверной и огромным серым колледжем увидел он часы с позолоченными стрелками, ярко загоревшимися на солнце. Он, точно под гипнозом, уставился на эти часы; и вдруг, как будто специально для него, часы стали бить. Часы за часами во всем городке, точно по сигналу, забили тревогу. Церкви всполошились, как цыплята от петушиного крика. Солнце взошло, и небесам словно не под силу было сдерживать его обильное сияние в своей глубине; мелкие лужицы зазолотились, засверкали и стали казаться такими глубокими, что могли бы утолить жажду богов. Как раз за углом колледжа Имсу были видны с шаткой перекладки, на которой он висел, самые яркие пятна этого светозарного ландшафта, в том числе дача с пятнистыми шторами, о которой он упоминал нынче ночью. И захотелось ему, впервые в жизни, узнать, что за люди живут на этой даче.

«Внезапно он вскрикнул сердито и властно, как крикнул бы, например, студенту, чтобы тот закрыл дверь:

«— Выпустите меня отсюда! Я больше не могу! Я не выдержу!

«— Вы-то, быть может, и выдержите, но едва ли эта жердочка выдержит вас,—сказал Смит.—Одно из трех: либо вы свалитесь и сломите себе шею, либо я разможу вам голову, либо вы будете впущены мною к себе в кабинет (я еще не решил окончательно, какие меры будут приняты в отношении вас). Но пока не случилось ни того, ни другого, ни третьего, я желал бы уяснить себе метафизическую сторону вопроса. Должен ли я понять, что вы желаете вернуться к жизни?

«— Я бы все отдал на свете, чтобы только вернуться к жизни,—последовал ответ несчастного профессора.

«— Отдали бы все! — вскричал Смит. — Ах, вы бесстыдник! В таком случае дайте нам песню!

«— Что вы хотите сказать? — в беспредельном отчаянии спросил Имс. — Какую песню?

«— Гимн, я думаю, будет наиболее уместен, — серьезно ответил Смит. — Я отпущу вас, если вы повторите за мной слова радостной и благодарственной молитвы:

Какое счастье было мне
В веселой Англии родиться
И здесь, на этой крутизне,
С улыбкой радости явиться!

«Доктор Эмерсон Имс исполнил все в точности, тогда мучитель приказал ему поднять руки вверх. Мгновенно сопоставив поступки Смита с обычным поведением разбойников и рыцарей большой дороги, мистер Имс поднял

руки быстро, но без особого удивления. Птица, опустившаяся на его каменное сидалище, не обратила на него никакого внимания, словно он был комической статуей.

«— Теперь вы принимаете участие в общественном богослужении,—строго проговорил Смит,—и, пока я с вами еще не покончил, вы должны вознести хвалу небесам за создание гусей и уток, которые плескаются в пруде.

«Прославленный пессимист полувнятным голосом выразил свою полную готовность воздать небесам хвалу за создание уток, которые плескаются в пруде.

«— Не забудьте селезней!—суровым тоном напомнил ему Смит. (Имс, дрожа, упомянул и селезней).—И вообще, не забывайте ничего. Вы должны поблагодарить небо за церкви, за часовни и дачи, за самых заурядных людей, за лужи, горшки и чашки, за палки, за тряпки, за кости и за пятнистые шторы.

«— Да, да,—в отчаянии повторяла за ним его жертва,— за палки, за тряпки, за кости, за шторы.

«— Пятнистые шторы, так, кажется, было сказано вами,—с наглой беспощадностью настаивал Смит, помахивая своим револьвером, точно длинным металлическим пальцем.

«— Пятнистые шторы! — еле слышно пробормотал Эмерсон Имс.

«— Лучше этого вы никогда ничего не скажете, — решил юноша. — И теперь я должен прибавить еще несколько слов, дабы покончить с этим раз навсегда. Если бы вы были таким человеком, за какого вы себя выдаете, то я уверен, что ни ангел, ни улитка не обратили бы внимания на то, что вы сломали себе вашу безбожную шею, если бы я выпотрошил ваши тупые —

славословящие дьявола—мозги. Но не могу не отметить того узко-биографического факта, что в сущности вы превосходнейший малый, посвятивший себя проповедыванию самого дикого вздора, и что я люблю вас, как брата. Поэтому я выпущу все свои заряды в воздух вокруг вашей головы, с тем однако расчетом, чтобы не задеть вас (радуйтесь, — я хороший стрелок), а затем мы вернемся к вам и хорошо позавтракаем вместе.

«Он выпустил в воздух два заряда; профессор выдержал их с удивительной стойкостью, но сказал неожиданно:

«— Не тратьте так много пуль.

«— Почему? — задорно спросил Смит.

«— Сохраните их,—ответил профессор, — для следующего вашего собеседника, с которым у вас произойдет такой же разговор, как и со мною.

«В тот момент Смит глянул вниз и заметил, что внизу стоит проректор, вззирающий на них с выражением апоплексического ужаса. Проректор испускал визгливые крики, которыми звал на помощь швейцара и лестницу.

«Доктору Имсу пришлось истратить несколько минут, чтобы отделаться от лестницы, и еще немалое время, чтобы отделаться от проректора. Но, когда он с наимозможнейшей деликатностью убедил проректора оставить его в покое, он поспешил вернуться к своему оригинальному собеседнику. Каково же было его изумление, когда он увидел, что гигант Смит сильно расстроен и сидит, охватив руками свою косматую голову. Имс окликнул его, и он поднял свое сильно побледневшее лицо.

«— Что такое? В чем дело?—спросил Имс, у которого нервы разыгрались, как птицы на заре.

«— Я должен просить снисхождения, — сказал расстроенный Смит, — я прошу принять во внимание, что мне только что удалось избежать смерти.

«— Вы избежали смерти?— с непростительным раздражением промолвил профессор, — но ради всего...

«— О, да неужели вы не понимаете, неужели вы не понимаете!— с нетерпением вскричал бледный юноша, — я должен был пройти через это. Я должен был либо доказать вам, что вы неправы, либо умереть. Когда человек молод, он всегда поклоняется авторитету того, кого он считает квинт-эссенцией человеческой мудрости, всезнающим существом, если только возможно вообще знать что-либо. Да, и таким существом были для меня вы; вы говорили не как книжник, не как фарисей, а как человек, обладающий подлинным опытом. Никто не мог бы утешить меня, если *вы* сказали, что утешения нет. Если вы говорили нам, что нигде нет ничего, то это потому, что вы были там в этом *нигде* и видели это *ничто* своими глазами. Понимаете вы теперь? Я должен был либо доказать вам, что вы сами не верите тому, что говорите, либо, в противном случае, броситься в воду.

«— По-моему, вы, кажется, смешиваете...

«— О, не говорите мне этого!— вскричал Смит с порывистым ясновидением, свойственным душевному страданию.— Не говорите мне, что я смешиваю Радость Бытия с Волей к Жизни. Это по-немецки, а немецкий значит — верхне-фламандский, а верхне-фламандский — вдвойне фламандский¹⁾. В огоньке, что светился в ваших глазах, когда вы висели на той водосточной трубе,

¹⁾ Вдвойне фламандский—английское выражение, обозначающее: вздор, чепуха.

прочел именно Радость Жизни, не «Волю к Жизни», а именно радость жизни. Вы поняли, когда вы сидели на той проклятой водосточной трубе, что мир, вообще говоря,—прекрасное, чудесное место. Я знаю это наверное, потому что сам постиг это в ту же минуту. Я видел, как розовели серые облака, заметил маленький часовой циферблат, позлащенный лучами солнца. Не жизнь вы боялись покинуть, а именно эти предметы. Имс, мы оба стояли на краю могилы; признайтесь же, что я прав.

«— Да,—тихо сказал Имс,—я думаю, что вы правы. Вы кончите университет первым.

«— Прав!—вскричал Смит и оживился.—Я сдал все экзамены с отличием, а теперь отпустите меня, и пусть меня исключают.

«— Исключают?—сказал Имс, и в голосе его послышалась уверенность педагога, прошедшего двенадцать лет в интригах.—Решительно все на свете должно исходить от того, кто стоит на вершине власти. В данном случае на вершине власти — я, и я открою правду окружающим.

«Смит тяжело поднялся и медленной поступью подошел к окну. Но решение его было попрежнему твердо:

«— Я должен быть исключен,—сказал он,—а вы не должны говорить людям правду.

«— Почему?

«— Потому что я желаю последовать вашему совету,—ответил тяжеловесный молодой человек в тяжелом раздумьи.—Я желаю сохранить оставшиеся заряды для тех, кто еще находится в таком позорном состоянии, в каком находились мы с вами минувшею ночью. Мы даже не можем оправдаться тем, что мы были пьяны. Я желаю сохранить эти пули для пессимистов—пилюли для бледных людей. Я пройду по свету, как нечаянное чудо —

полечу беспечно, как перекасти-поле, явлюсь бесшумно, как восходящее солнце, сверкну внезапно, как искра, и исчезну бесследно, как затихший зефир. Я не желаю, чтобы люди догадались заранее, какие шутки я намерен с ними сыграть. Я хочу, чтобы оба подарка, которые я несу человечеству, предстали в своей девственной и яростной силе: первый подарок—смерть, второй—жизнь. Я направлю дуло револьвера в лоб Современного Человека. Но не с тем, чтобы убить его, а затем, чтобы вернуть его к жизни. Я дам новое значение понятию: скелет на пиру.

«— Уж вас-то никак нельзя назвать скелетом,—сказал с улыбкой доктор Имс.

«— Оттого, что я так часто бываю на пирах,—ответил дородный молодой человек.—Ни один скелет не сохранит своего скелетного облика, если он бывает на стольких обедах. Но я отклонился от темы. Я хочу сказать, что уловил новый смысл смерти и всего этого... смысл черепа и скрещенных костей, как *memento mori*. Этот символ должен говорить нам не только о будущей жизни, но и о здешней, земной. Дух у нас так немогущ, что на протяжении вечности мы страшно состарились бы, если бы смерть не поддерживала в нас нашей молодости. Провидение наделяет нас бессмертием по частям, как няньки распределяют бутерброды между детьми.—И в голосе Смита звучала сверхъестественная сила, когда он вдруг прибавил:—Но я знаю теперь некую истину, Имс. Я понял ее, когда облака розовели под солнцем.

«— Что вы хотите сказать?—спросил Имс.—Что такое узнали вы?

«— Впервые узнал я, что убийство, и вправду, нехорошая вещь.

«Он крепко пожал руку доктору Имсу и стал ощупью пробираться к дверям. Перед тем как зайти, он прибавил:—Все же очень опасно, когда человек хоть на секунду вообразит себе, что он знает, что такое смерть.

«Много часов просидел доктор Имс в глубоком раздумьи после ухода своего недавнего преследователя. Затем он поднялся, схватил шляпу и зонтик и вышел прогуляться. И хотя он все время бродил около одного и того же места, он однако остался доволен своей прогулкой. Много раз останавливался он у дачи с пятнистыми шторами и внимательно рассматривал ее, склонив голову на бок. Некоторые принимали его за помешанного, некоторые полагали, что он намерен купить этот дом. (К слову сказать, профессор и до сих пор сомневается, чтобы между покупателем домов и сумасшедшим существовала сколько-нибудь серьезная разница).

«Вышеприведенный рассказ построен на принципе, который, по мнению нижеподписавшихся, совершенно неизвестен еще в искусстве писать письма. Каждое действующее лицо изображено в таком виде, в каком оно рисовалось другому действующему лицу. Но нижеподписавшиеся гарантируют абсолютную точность этого рассказа. И если бы кто-либо позволил себе взять их отчет под сомнение, то нижеподписавшиеся лица хотели бы знать, чорт возьми, кто же кроме них может знать это дело?

«Нижеподписавшиеся лица, нимало не медля, отправляются в «Пятнистую Собаку» — пить пиво. Прощайте.

Джемс Эмерсон Имс,

Ректор Брэспирского Колледжа. Кэмбридж.

Инносент Смит».

Глава II

ДВА ВИКАРИЯ; ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В ГРАБЕЖЕ

Артур Инглвуд передал только что прочитанное письмо представителям обвинения, и те, склонив над ним головы, принялись изучать документ. Оба они — еврей и американец — легко приходили в возбуждение, и по быстрым движениям черной и желтой голов было ясно, что подлинность документа была, увы, вне всяких сомнений. Письмо ректора оказалось не менее подлинно, чем письмо проректора, хотя и отличалось, к сожалению, некоторой легкостью тона.

— Мне остается прибавить лишь несколько слов, — сказал Инглвуд. — Теперь, конечно, ясно, что наш клиент прибегал к оружию с эксцентрической, но невинной целью: дать хороший урок тем, кого он считал богохулами. Урок был во всех отношениях настолько удачен, что даже сами потерпевшие считают этот день днем своего нового рождения. Смит отнюдь не сумасшедший человек; скорее он психиатр, который лечит других сумасшедших и, шествуя по миру, уничтожает безумие, а не распространяет его. К этому и сводится мой ответ на те два необъяснимых вопроса, которые были мною предложены обвинителям, а именно: почему не посмели они огласить ни единой строки, написанной рукою того человека, которому Смит угрожал своим револьвером? Все те, кто видел перед собой дуло револьвера, признают, что это принесло им пользу. Вот почему Смит, будучи хорошим стрелком, никогда никого не ранил. Его душа чиста и неповинна в убийстве, а руки его не обгарены кровью. В том, повторяю, и заключается единственно возможное объяснение этого

случая, равно как и всех прочих. Нельзя, не приняв на веру слов ректора, объяснить себе поведение Смита. Даже сам доктор Пим — настоящий кладезь замысловатых научных теорий — и тот не сумеет иначе объяснить нам данный случай.

— Гипноз и раздвоение личности открывают нам многообещающие перспективы, — медленно протянул Сайрус Пим. — Криминология — наука, не вышедшая еще из стадии младенчества.

— Младенчества! — тотчас же подхватил Мун и с радостно удовлетворенным видом поднял кверху красный карандаш. — Да, этим объясняется все.

— Я повторяю, — продолжал Инглвуд, — что ни доктор Пим, ни кто-либо другой не сможет объяснить поведение ректора иначе, чем объясняем его мы, так как свидетелей преступления нет, а выстрелы никого не задела.

Маленький янки несколько оправился от неудачи и снова вскочил с места с прежним хладнокровием боевого петуха.

— Защита, — сказал он, — упускает из виду очевидный факт колоссальной важности. Она утверждает, что мы не можем указать ни одной жертвы Смита. Прекрасно, вот перед вами стоит одна жертва — знаменитый Уорнер, претерпевший удары Смита. Перед вашими глазами наглядный пример. Утверждают, что за каждым оскорблением следовало примирение. Но нет, имя доктора Уорнера незапятнано: он не примирился до сих пор.

— Мой ученый друг, — внушительно заявил, поднявшись с места, Мун, — не должен забывать, что наука о том, как следует стрелять в доктора Герберта Уорнера, еще находится в стадии младенчества. Самый ленивый

глаз был бы поражен теми исключительными трудностями, с которыми сопряжено обращение доктора Уорнера на путь радостного отношения к жизни. Мы признаем, что наш клиент в одном только этом случае не имел успеха и что операция ему не удалась. Зато я имею полномочия предложить доктору Уорнеру от имени моего подзащитного повторную операцию по первому его требованию и без всякой приплаты.

— Да будьте вы прокляты, Майкэл, — не на шутку в первый раз в жизни рассердился Гулд. — Скажите хоть что-нибудь дельное для разнообразия.

— О чем говорил доктор Уорнер перед первым выстрелом? — неожиданно спросил Мун.

— Этот субъект, — надменно отозвался доктор Уорнер, — с характерным для него остроумием спросил у меня, не праздную ли я сегодня день моего рождения.

— А вы с характерным для вас тупоумием, — воскликнул Мун и направил на Уорнера свой длинный, тонкий указательный палец, не менее грозный и неподвижный, чем дуло Смитовского револьвера, — ответили, что вы своего рождения не празднуете.

— Что-то в этом роде, — подтвердил доктор.

— Тогда, — продолжал Мун, — он спросил вас, почему, а вы ответили на это, что рождение — событие, в котором вы не видите ничего веселого. Так ли это? И сомневается ли еще кто-нибудь в правильности нашего объяснения?

Гробовое молчание воцарилось в комнате; Мун сказал:

— *Rex populi vox dei* (молчание народа — глас божий). Или, выражаясь более цивилизованным языком доктора Пима, нам предоставляется право приступить ко второму обвинению. По первому мы требуем оправдания.

Прошло около часа. Доктор Сайрус Пим в течение этого времени застыл на месте с закрытыми глазами, подняв в воздух два пальца, большой и указательный. Казалось, на него «накатило», как говорят няньки про детей. Наступившая в комнате тишина была так тягостна, что Майкэл Мун счел необходимым разрядить напряженную атмосферу двумя-тремя замечаниями. Потом, в течение получаса выдающийся криминалист распространялся на тему о том, что современная наука рассматривает покушения на чужую собственность под тем же углом зрения, что и покушения на жизнь.

— Убийство по самому своему существу, — говорил он, — есть не что иное, как проявление мании к уничтожению людей, так же, как и воровство — проявление kleptomании. Само собою разумеется, и я думаю, что уважаемые друзья мои, сидящие напротив, согласятся со мной — что современная точка зрения на воровство должна неминуемо повлечь за собой систему наказаний более справедливую и гуманную, чем методы прежних законодательств. Мои коллеги, конечно, отдадут себе ясный отчет в этой столь широко разверстой перед ними бездне, так парализующей ум, в бездне... — В этом месте он остановился и застыл в обычной своей изящной позе, с двумя поднятыми вверх пальцами, но Майкэл на этот раз не вытерпел.

— Да, да, — нетерпеливо прервал он Пима. — Бездна, так бездна! Отлично. Мы знаем, что по старым жестоким законам человека, обвиненного в воровстве, приговаривали к десяти годам заключения. Современный же гуманизм ни в чем не обвиняет человека, но обрекает его на вечную каторгу. Ну, вот мы и перешагнули через бездну.

Характерной чертой знаменитого Пима было то,

что, когда он подыскивал нужное ему слово, он не замечал не только возражений своих оппонентов, но и своих собственных пауз.

— ...отрадной,—продолжал доктор Сайрус Пим,—столь обильной радужными надеждами на будущее. Итак, современная наука в принципе смотрит на вора и на убийцу одинаковым взором. Она видит в воре не грешника, на которого следует наложить временное наказание, но пациента, который требует ухода за собой и который должен быть изолирован в течение (тут он снова поднял два пальца кверху)... скажем, в течение более или менее долгого времени. Но в данном случае имеются обстоятельства, заслуживающие особого внимания. Клептомания в большинстве случаев соединяется...

— Прошу извинения,—прервал его Мун.—Я до сих пор не счел возможным предложить этот вопрос, так как, признаюсь откровенно, был уверен, что доктор Сайрус Пим, несмотря на свое явно вертикальное положение, наслаждается вполне заслуженным сном. Я был твердо убежден, что доктор Пим спит, держа в своих пальцах щепотку невидимых мельчайших пылинок. Но теперь, когда дело несколько подвинулось вперед, мне хотелось бы уяснить себе нечто. Не стану говорить, с каким восхищением ловил я каждое слово, произносимое доктором Пимом. Но до сих пор я не имею ни малейшего понятия о том, какое преступление в конце концов вменяется в вину моему подзащитному. Что он такое задумал или совершил?

— Если у мистера Муна хватит терпения, — с достоинством ответил доктор Пим, — то он убедится, что именно к этому клонится моя речь. Клептомания, как я уже упомянул, проявляется в физическом влечении к определенным предметам; и полагают (между прочим

такой замечательный ученый, как Гаррис), что в этом следует искать объяснения строгой специализации и узко профессионального кругозора большинства преступников. Один питает непреодолимую страсть только к жемчужным запонкам и проходит мимо брильянтовых, даже если они находятся у него под рукой. Другой не может обойтись без высоких сапог по крайней мере на сорока семи пуговицах, а к эластической обуви относится совершенно равнодушно и даже насмешливо. Повторяю, специализация преступника может скорее служить признаком слабоумия, чем особого делового таланта. Но есть особый тип преступника, к которому на первый взгляд трудно применить этот принцип. Я говорю о гражданах-грабителях. Некоторые, самые молодые и смелые из наших ученых утверждают, что взгляд вора, подкравшегося к садовой ограде, вряд ли может быть гипнотически привлечен какой-нибудь вилочкой, которая спрятана под кроватью дворецкого в крепко запертом на ключ сундуке. По поводу этого пункта они бросили перчатку столпам американской науки. Они заявляют, что в лачугах городской бедноты брильянтовые запонки не лежат на самом видном месте, как это имело место в колледже Калипсо при величайшем в мире пробном испытании. Мы надеемся, что преступление, подлежащее нашему рассмотрению, будет ответом на этот задорный вызов и раз навсегда поставит грабителя на подобающее ему место среди его коллег по преступлению.

Мун, лицо которого за последние пять минут выражало все стадии яростного недоумения, вдруг поднял кулак и ударил изо всех сил по столу.

— Теперь-то я, наконец, начинаю понимать! — воскликнул он. — Вы обвиняете Смита в воровстве!

— Надеюсь, я выражался в достаточной мере ясно,—
прищурив веки, промолвил Пим.

Этот домашний суд имел ту характерную особенность, что все цветы красноречия, все риторические выражения одной из сторон не были понятны другой стороне и возмущали ее. Чужда и непонятна была Муну напыщенная риторика Нового Света. Так же чужда и непонятна была Пиму жизнерадостность Старого Света.

— В области экспроприации Смит избрал себе одну специальность: грабеж. Преследуя ту же цель, что и в предыдущем деле, мы кладем в основу нашего обвинения лишь абсолютно бесспорный материал и ограничиваемся опубликованием лишь строго-проверенного показания. Я попрошу теперь моего коллегу мистера Гулда прочесть полученное нами письмо. Автор его — уважаемый, безупречный священнослужитель, каноник Дэргэма, каноник Хоукинз.

Мистер Моисей Гулд вскочил с места с обычной своей быстротой и стал читать письмо уважаемого и безупречного каноника Хоукинза. Моисей Гулд прекрасно умел изображать домашних животных, сэра Генри Эрвинга ¹⁾ — не столь хорошо, Мэри Ллойд — блестяще, а новейшие моторные гудки он воспроизводил с таким совершенством, что одним только этим заслужил себе почетное место среди величайших артистов мира. Но изобразить каноника Дэргэма ему совершенно не удалось; напротив, смысл прочитанного настолько искажался неожиданными интонациями и неправильностями его произношения, что мы предпочитаем воспроизвести показание каноника в том виде, как прочел его Мун, когда немного погодя оно было передано ему через стол.

¹⁾ Генри Эрвинг — знаменитый английский актер.

— «Милостивый государь! Признаюсь, я не был особенно удивлен, когда узнал, что событие, о котором вы упоминаете, просочилось сквозь фильтр всепожирающей прессы в публику. Я, по занимаемому мною в обществе положению, являюсь лицом официальным, а это событие несомненно выходит из рамок даже моей — не совсем обыденной и, пожалуй, не лишенной известного значения — деятельности. Могу сказать, что я неоднократно входил в соприкосновение с возбужденной уличной толпой. Много политических кризисов пережил я на своем веку в Гернской бухте еще во времена старой Лиги Подснежника¹⁾, и много вечеров провел я в Христианской Социалистической Ассоциации, пока не порвал окончательно с этим сбродом безмозглых идиотов. Но происшествие, о котором я хочу рассказать, имеет исключительный характер. Скажу только, что мне оно представляется кознями того безбожного духа, которого я, как священнослужитель, не имею даже права называть.

«Случилось это тогда, когда я временно занимал пост викария в Хокстоне; другой викарий, бывший тогда моим сослуживцем, уговорил меня пойти с ним на митинг, который, по его кощунственному утверждению, имел целью установить на земле царство божие. Однако я увидел там только неприятных субъектов в засаленных бархатных куртках, с дурными манерами и самыми крайними лозунгами.

«О моем сослуживце мне хотелось бы отозваться с чувством величайшего уважения и дружеской преданности, поэтому я скажу о нем лишь немного. Я строго

¹⁾ Лига Подснежника — английская организация для пропаганды консервативных идей.

убежден в том, что политика в церкви—явление пагубное, и потому всегда во время выборов строго воздерживаюсь от воздействия на своих прихожан, за исключением тех случаев, когда я твердо уверен, что они заблуждаются в выборе кандидата. Не желая, однако, касаться политических и социальных вопросов, я считаю своим долгом заявить, что священнику не подобает, даже в виде шутки, поддерживать своим авторитетом постыдное кликушество распущенных демагогов-радикалов и социалистов и что потворство этим идеям равносильно измене святой равноапостольской церкви. Я более чем далек от желания порицать моего сослуживца, преподобного Раймонда Перси. Он произнес блестящую речь; она многих, я думаю, увлекла; но священник, который провозглашает социалистические идеи, который носит, точно пианист, длинные волосы, который ведет себя, как одержимый, не может завоевать себе видного положения в клерикальном мире и едва ли заслуживает одобрения благонамеренной части общества. Не стану также говорить о том, какое впечатление произвела на меня собравшаяся в зале публика. Бросив беглый взгляд на все эти ряды пошлых и завистливых физиономий...»

— Выражаясь, — внезапно взорвался Мун, — выражаясь языком преподобного джентльмэна, я хочу сказать, что, хотя никакие пытки не исторгнут из моей груди самого тихого шопота о его мыслительных способностях, он все же старый облезлый осел!

— Однако! — воскликнул доктор Пим. — Я протестую.

— Успокойтесь, Майкэл! — сказал Инглвуд. — Они имеют право читать свою сказку.

— Председатель! Председатель! Председатель! — вскричал. Гулд, беспокойно ерзая на стуле, и Пим бросил

взгляд на балдахин, который осенял верховную власть Судилища.

— О, только не будите старую лэди! — понизив голос, добродушно сказал Мун. — Я прошу прощения. Я больше не буду.

Гулд снова приступил к чтению письма.

— «Заседание открылось речью моего коллеги, о которой лучше умолчу. Это была жалкая, ничтожная речь. На митинге присутствовало много ирландцев, которые и проявили при этом все печальные недостатки своего темперамента. Стóбит нескольким ирландцам собраться в одну шайку, они тотчас же теряют природное свое добродушие. Каждый ирландец в отдельности мягок и кроток, поддакивает всякому вашему слову, но, собранные вместе, они задорны и буйны».

При этих словах Мун встал на ноги, отвесил глубокий поклон и снова опустился в свое кресло.

— «Все же эти люди отнеслись довольно одобрительно, хотя и несколько шумно, к речи мистера Перси. Желая быть понятым ими, он снизошел до их умственного уровня и коснулся в своей речи квартирной платы и нормирования труда. Конфискации, экспроприации, третейские суды и другие термины, произнесением коих я не желаю загрязнить свои уста, испещряли его речь ежеминутно. Через несколько часов разразился скандал. Я взошел на кафедру и обратился к собравшимся с краткой речью, в которой указал на отсутствие бережливости в рабочих семействах, на недостаточное посещение вечерней церковной службы, на невнимательное отношение к Празднику Урожая, и стал перечислять те средства, которые могли бы существенно облегчить бедноте ее участь. В это время в зале раздался какой-то

шум. Огромный, сильный мужчина, почти весь покрытый слоем извести, поднялся со своего места в середине зала и проревел громоподобно, как бык, целую тираду, казалось, на каком-то иностранном наречии. Мистер Раймонд Перси снизошел к его уровню и затеял с ним словесную дуэль, в которой, кажется, остался победителем. Аудитория стала как будто почтительнее, но, увы, не надолго; не успел я произнести нескольких первых сентенций, как раздался снова страшный шум. Огромный штукатур бросился по направлению к нам, сотрясая землю, точно слон. Право, не знаю, чем бы все это кончилось, если бы другой великан, столь же внушительный, но лучше одетый, не вскочил и не удержал его. Второй великан издавал все время какие-то отрывочные восклицания и, оттеснив толпу назад, помог нам пробиться к выходу. Я не знаю, что он говорил этим людям, но криками, пинками, тумаками он прочистил для нас дорогу и дал нам возможность ускользнуть через боковую дверь в то время, как разъяренная чернь с громкими криками хлынула из главного выхода.

«Здесь и начинается, собственно говоря, фантастическая часть моего рассказа. Как только этот гигант, пройдя через узкий двор, вывел нас в темный переулок с единственным фонарным столбом, он обратился к нам с такими словами:—Вы спасены, господа. Предлагаю вам идти со мной. Мне необходимо ваше содействие в совершении одного акта социальной справедливости, вроде тех, о которых мы сейчас говорили. Идем! — И, резко повернув к нам свою широкую спину, он повел нас по темному переулку, освещаемому единственным невзрачным, старым, темным фонарем, и мы, не зная, как поступить, двинулись вслед за ним.

«Конечно, он помог нам выпутаться из очень

неприятного положения, и, как джентльмэн, я не считал себя в праве оскорблять моего спасителя каким-нибудь подозрением, не имея к тому достаточно веских оснований. Мой взгляд совпадал с точкой зрения моего коллеги - социалиста, который (несмотря на всю свою отвратительную болтовню о третейских судах) тоже джентльмэн. Он потомок Стаффордширских Перси, ветви старинного рода, и имеет все отличительные черты этой семьи: черные волосы, бледное и тонкое лицо. Его решение увеличить свои природные достоинства черным бархатом и красным крестом я приписываю мелкому тщеславию, и конечно... но я уклоняюсь от главной нити моих рассуждений.

«Туман поднимался над улицей и застилал единственный унылый фонарь, который мерцал позади. Эта темнота угнетала мне душу. Великан, шагавший впереди, с каждой минутой казался все выше. Повернув к нам свою широкую спину, он шел огромными шагами вперед и, наконец, сказал, не оглядываясь: — Всем этим разговорам грош цена. Нам нужно применить ваш социализм на деле.

«— Я с вами согласен, — ответил Перси, — но я предпочитаю изучить раньше теорию, а потом уже прилагать ее на практике.

«— О, предоставьте это мне, — перебил его социалист-практик с какой-то ужасающе двусмысленностью. — У меня свой метод. Я легко проникаю вглубь...

«Признаюсь, я не понял, что он этим хотел сказать, но мой коллега засмеялся. Это меня несколько успокоило, и я бестрепетно пошел за ним вперед. В тесном переулке невозможно было идти рядом, но мы вышли на широкую панель и вошли в раскрытую деревянную калитку. В густом тумане и наступившей темноте нам

казалось, что мы идем по протоптанной тропинке какого-то огорода. Я обратился за объяснениями к нашему огромному вожатому, но он неопределенно ответил мне, что так мы сокращаем дорогу.

«Я только что собрался поделить с моим спутником своими вполне естественными подозрениями, как вдруг наткнулся на ступеньки какой-то лестницы. Мой легкомысленный коллега так быстро взобрался по ней, что мне ничего другого не оставалось, как только последовать за ним. Дорожка, по которой мне затем пришлось идти, была необычайно узка. Мне никогда в жизни не приходилось протискиваться по такому узкому проходу. С одной стороны тянулись какие-то растения, и я в тумане принял их с первого взгляда за мелкий, густой кустарник. Но вскоре я убедился в том, что это не кусты, а верхушки высоких деревьев. Я, английский джентльмен и священник англиканской церкви, я, точно кот, пробирался по садовой стене.

«Спешу, однако, прибавить, что я сразу же, не сделав и пяти шагов, остановился и дал волю своему справедливому гневу, стараясь по возможности сохранить равновесие.

«— Это правильный путь,—заявил нам невменяемый вожатый. — Здесь ходить воспрещается лишь раз в сто лет.

«— Мистер Перси, мистер Перси! — воскликнул я. — Не собираетесь же вы в самом деле идти вслед за этим негодяем!

«— Собираюсь! — ответил мой злополучный коллега. — Я думаю, что мы с вами вообще злоумышленники — и гораздо хуже, чем он, каким бы злодеем он ни был.

«— Я — налётчик! — с полным спокойствием признался

верзила.—Я член Фабианского Общества ¹⁾. Я отбираю у капиталистов ценности, украденные капиталистами, но не путем гражданской войны и революции, а при помощи мелких реформ, применяемых эпизодически—то там, то здесь—езде понемножку. Видите ли вы там на горке дом с плоской крышей, пятый с краю? Я хочу сегодня проникнуть туда.

«— Преступление или шутка,—воскликнул я,—но я не желаю принимать в этом никакого участия!

«— Лестница тут позади,—с ужасной вежливостью отозвался этот дикий субъект,—но пока вы еще не ушли, позвольте мне вручить вам мою визитную карточку.

«Если б я в ту минуту обладал должным присутствием духа, я швырнул бы прочь его визитную карточку, невзирая на то, что всякое резкое движение могло вывести меня из равновесия, которое я с таким трудом сохранял. Как бы то ни было, но я при тех необычайных обстоятельствах несколько растерялся и сунул карточку в жилетный карман; затем, избрав прежний путь (по стене и лесенке), я сошел вниз и снова очутился на respectable улице. Все же к своему ужасу я успел собственными глазами удостовериться в двух обстоятельствах: во-первых, что громила взбирается на покатую крышу дома к дымовой трубе, а во-вторых, что Раймонд Перси (служитель церкви божией и, что еще хуже — джентльмэн) крадется вслед за ним; с тех пор я никогда не видел ни того, ни другого.

«После описанного мною потрясающего события я прервал всякие сношения с этой буйной оравой. Я отнюдь не утверждаю, что каждый член Социалистического

¹⁾ Фабианцы — умеренные социалисты в Англии.

Общества есть в то же время грабитель; я не имею права предъявлять такое обвинение огулом. Но это происшествие указало мне, к чему в большинстве случаев приводят наклонности подобного рода; и я расстался с этими людьми навсегда.

«Мне остается лишь прибавить, что присланная вами фотография, снятая неким мистером Инглвудом, не оставляет во мне никаких сомнений, что оригиналом для нее послужил описанный мною преступник. Придя домой, я ночью уже взглянул на его визитную карточку; в ней он именует себя Инносент Смит.

Остаюсь преданный вам

Джон Клеменс Хоукинз».

По окончании чтения Мун беглым взглядом окинул письмо каноника. Он отлично знал, что письмо не поддельное: обвинители не могли бы сочинить столь тяжеловесный документ. Моисей Гулд уж, конечно, не мог бы писать стилем каноника, ему не удалось даже подделаться под его манеру говорить. Возвратив письмо по принадлежности, Мун поднялся с места и начал защитительную речь.

— Мы, — сказал Майкэл, — охотно идем навстречу обвинителям в каждом отдельном вопросе; не желая тормозить процесс, мы избегаем препирательств. По этому, как и в прошлом деле, я отказываюсь обсуждать те догматы и теории, которые так любезны сердцу доктора Пима. Эти догматы и теории отлично мне известны! Клятвопреступление есть своего рода заикание, побуждающее человека говорить не то, что он хочет сказать. Подлог есть своего рода нервная судорога, заставляющая человека писать на векселе фамилию своего дяди вместо своей. Морской разбой — вероятно, разно-

видность морской болезни. Бог с ними, с такими теориями! Нас не интересуют причины, побудившие Смита к грабежу, ибо, по нашему глубокому убеждению, Смит никакого грабежа не совершал... Я желал бы воспользоваться правом, которое предоставлено сторонам по обоюдному соглашению, и хочу задать обвинителям два-три вопроса.

Доктор Сайрус Пим прикрыл глаза веками, любезно выразив этим свое согласие.

— Прежде всего, — продолжал Мун, — известно ли вам, какого числа, в каком месяце Хоукинз бросил последний взгляд на Смита и Перси, пробиравшихся по заборам и крышам?

— О да, — мгновенно ответил Гулд. — Тринадцатого ноября 1891 года.

— Установили ли вы с достаточною точностью, по крышам каких именно домов пробирались они в ту ночь?

— Эти дома расположены на террасе Лэйдисмит, неподалеку от главной улицы, — с точностью хронометра отапортовал Гулд.

— Великолепно! — сказал Майкэл и приподнял брови. — Была ли совершена какая-нибудь кража со взломом на той террасе в ту ночь? Это может быть установлено вполне достоверно.

— Возможно, что покушение на кражу закончилось неудачей, — ответил после некоторого колебания доктор, — и потому не получило широкой огласки.

— Второй вопрос, — продолжал Майкэл. — Каноник Хоукинз струсил и позорно сбежал самым мальчишеским образом в наиболее интересный момент. Почему бы вам не огласить показаний второго каноника, который пошел вместе с вашим грабителем дальше и, надо полагать, присутствовал при краже?

Доктор Пим поднялся с места и опустил кончики своих пальцев на стол; так поступал он всегда, когда был особенно уверен в неоспоримости своих возражений.

— Нам не удалось, — сказал он, — набрести на следы этого второго священника. Он словно растворился в эфире после того, как каноник Хоукинз видел его восхождение по жолобам, карнизам и выступам крыши. Я, конечно, понимаю, что многим это покажется странным; но я думаю, что всякий здравомыслящий человек после некоторого размышления найдет это вполне естественным. Мистер Раймонд Перси, как это следует из показаний каноника, довольно эксцентрический служитель алтаря. Его связи с высшей аристократией Англии не могли удержать его от сношений с подонками общества. С другой стороны, подсудимый Смит, по всеобщему признанию, обладает непреодолимой притягательной силой. Я несколько не сомневаюсь в том, что Смит сперва вовлек священника Раймонда Перси в преступление, а потом принудил его скрыться навсегда в темном мире воров и убийц. Этим объясняется бесследное исчезновение каноника и безуспешные попытки набрести на его следы.

— Следовательно, есть возможность найти его? — спросил Мун.

— Возможности нет никакой, — повторил криминалист и закрыл глаза.

— Вы убеждены в этом?

— О, да отстаньте же, Майкэл! — рассердился не на шутку Гулд. — Уж поверьте, мы отыскиали бы его, если бы это было возможно, ибо он видел своими глазами, как ваш милый клиент занимался грабительством. Не попробуете ли отыскать его *вы*? Поищите лучше свою

голову в мусорном ящике! Попали впросак — и помалкивайте!

Его речь понемногу перешла в полувнятное ворчание.

— Артур! — садясь на свое место, сказал Майкэл. — Будьте добры огласить письмо каноника Раймонда Перси.

— Желая, как уже сказал мистер Мун, по возможности ускорить судопроизводство, — начал Инглвуд, — я пропущу начало этого письма. Представители обвинения будут рады узнать от меня, что показаниями второго священника всецело подтверждаются показания первого, поскольку они касаются фактической стороны дела. Мы поэтому не оспариваем правильности показаний каноника. Это весьма ценно для прокуратуры и удобно для судей. Приступая к чтению письма мистера Раймонда Перси, я начну с того момента, когда они трое стояли на стене, окружающей сад:

Мистер Раймонд Перси говорит:

«... Когда я увидел, как Хоукинз висится на садовой стене, моим сомнениям пришел конец. Пелена гнева затуманила мое сознание, словно густая пелена тумана, покрывавшая окрестные дома и сады. Мое решение было бесповоротно и просто, и все же столько сложных и противоречивых мыслей бродило тогда у меня в голове, что я теперь даже не могу их припомнить. Я знал, что Хоукинз добрый, безобидный джентльмен. Но в этот миг я охотно уплатил бы десять фунтов за удовольствие столкнуть его вниз головою. Одна богохульная мысль все время не покидала меня: зачем попускает господь бог, чтобы добросердечные люди были такими ослами?»

«В Оксфорде, увы, я пристрастился к художествам; художники же любят границы и меры. Церковь была

для меня лишь красивая форма; религиозная дисциплина — лишь декорация жизни. Мне нравилось вкушать рыбу по пятницам, потому что я вообще люблю рыбу, а пост создан для людей, которые любят мясное. Когда я прибыл в Хокстон, я увидел, что существуют люди, которые постятся, не разговляясь, пятьсот лет подряд, люди, которых нужда заставляет ежедневно жевать одну рыбу — так как мясо для них недоступная роскошь — и обгладывать рыбы кости, когда и рыбу не на что купить. Многие английские офицеры проникнуты убеждением, что армия существует только для парадов. Точно так же казалось мне, что Воинствующая Церковь создана для пышных церковных церемоний. Хокстон исцелил меня от такого взгляда. Я понял там, что Воинствующая Церковь в течение восемнадцати веков есть не парад, но вечно подавляемый бунт. Там — в Хокстоне — терпеливо доживали свой век те люди, которым от имени господ бога были даны самые смелые обещания. Перед лицом этих людей мне надлежало стать революционером, если я хотел остаться набожным. В Хокстоне нельзя быть консерватором, не будучи атеистом и врагом человечества. Никто, кроме дьявола, не может желать консервировать Хокстон.

«В довершение всего там появляется Хоукинз. Если бы он проклял всех жителей Хокстона, отлучил бы их от церкви и предсказал бы им, что они попадут в преисподнюю, я, пожалуй, стал бы его уважать. Если бы он отдал приказ сжечь их на рыночной площади, я перенес бы и это несчастье с той мудрой покорностью, с которой все добрые христиане переносят чужие несчастья. Но в нем нет духовной мощи фанатика, он так же неспособен быть священником, как неспособен быть плотником, извозчиком, садовником и штукату-

ром. Он истый джентльмэн, и в том его несчастье. Он олицетворяет собой не религию, но класс. В течение всей своей пагубной деятельности он ни разу не сказал ни слова о религии. Он просто повторяет то самое, что сказал бы его брат—майор. Голос с неба внушил мне, что у него имеется брат и что этот брат—майор.

«Когда сей безнадежный аристократ стал проповедывать чистоту тела и смирение духа людям, у которых дух едва держится в теле, аудитория возненавидела и его, и меня. Я принял участие в его незаслуженном спасении, последовал за его спасителем и очутился (как уже было сказано) на стене довольно мрачного сада, окутанного пеленою тумана. Там взглянул я на священника и вора и, по внезапному вдохновению, решил, что вор гораздо лучше священника. Вор казался таким же добрым и гуманным человеком, кроме того, он был бесстрашен и отзывчив к чужому несчастью, чем отнюдь не отличался священник. Высшим классам не свойственна добродетель. Я знал это отлично, так как сам принадлежу к высшим классам. Знал я также, что не слишком добродетельны и низшие классы, ибо я долгое время проживал среди них. Много евангельских текстов об отверженных и оскорбляемых пришли мне на ум, и у меня мелькнула мысль, что святых, пожалуй, следует причислить к разряду преступников. Пока Хоукинз спускался вниз по ступенькам, я ползком пробирался вверх по низкой, крутой синеватой сланцевой крыше — вслед за тем громадным субъектом, который, прыгая, несясь вперед, как горилла, показывая мне дорогу.

«Недолго взбирались мы кверху, и, несколько минут спустя, мы брели широкой полосой плоских крыш, которая была шире самых широких улиц. Там и сям торчали дымоходные трубы, во мгле они казались огром-

ными, точно небольшие форты крепостей. Едкий запах тумана, казалось, разжигал мою злобу. Казалось, что небо и окружавшие нас предметы, обычно столь ясные, находились теперь во власти какого-то дьявола. Казалось, что высокие призраки в чалмах из тумана поднимаются выше солнца и луны, заслоняя их от нашего взора. Смутно вспомнились мне иллюстрации к «Тысяче и одной ночи» — на коричневой бумаге, исполненные роскошными, но темными красками с изображениями неземных духов, столпившихся вокруг печати Соломона. Кстати, что такое печать Соломона? Вряд ли имеет она что-либо общее с сургучной печатью, но моему усталому воображению тяжелые облака представлялись именно сургучом — густым и липким, опалового цвета, беспрерывно текущим из огромных котлов и застывающим в воздухе в форме чудовищных символов.

«Узкие полосы тумана придавали всему окружающему мутный цвет горохового супа или черного кофе. Однако картина постепенно менялась. Мы стояли вверху, над крышами, в облаках дыма, рождающего туманы больших городов. Внизу поднимался целый лес дымоходных труб. И, точно цветы в горшках, высились в каждой трубе низкорослые кусты или высокие деревья разноцветного дыма. Дым был разноцветный, так как одни трубы вели к домашним очагам, другие — к фабрикам, а третьи — к печам, сжигающим мусор. И все же, хотя эти дымы и были самого разнообразного цвета, они одинаково казались сверхъестественными, точно шли они из кухни какой-нибудь ведьмы. Было похоже, что каждое из этих мерзостных и постыдных видений, теряя свою форму в кипящем котле, выделяло струю своего собственного, особого пара, цвета той рыбы или мяса, которые были брошены в этот котел. Вот вырвалось

наружу темно-багровое облако, словно шло оно из каких-нибудь чаш, наполненных жертвенной кровью. А вот струи серо-синего дыма, точно длинные волосы ведьмы, вымоченные в адской похлебке. Из одной трубы валил дым безобразного желто-опалового цвета, словно растаявшая грязная восковая фигура. Но рядом с ним змеилась яркая темно-зеленая сернистая полоса, словно арабская надпись...»

Мистер Моисей Гулд попробовал было еще раз остановить омнибус. Кажется, он требовал, чтобы в целях ускорения процесса из этого письма были выброшены все прилагательные. Миссис Дьюк, которая к тому времени проснулась, заявила, что, по ее мнению, все очень мило; ее решение тотчас же было внесено в протокол заседания; Моисей отметил его у себя синим карандашом, а Майкэл — красным. Инглвуд снова приступил к чтению письма.

«... И тогда я проник в тайное значение дыма. Дым походил на современный город, породивший его. Он не всегда безобразен и мрачен, но всегда порочен и зол.

«Современная Англия была подобна дыму, она могла сверкать всеми цветами радуги, но после нее оставалась лишь копоть. Наша слабость, а не сила, была в том, что мы воссылали к небесам столь богатые клубы отбросов. Это реки нашего тщеславия, изливающиеся в мировое пространство. В клубах дыма видел я символ моего бунтующего духа. Только самое худшее поднимается у нас к небесам. Только преступники могут у нас, подобно ангелам, парить в высоте.

«В то время, когда моя мысль была ослеплена такими чувствами, мой вожатый остановился у одной из тех

огромных труб, которые, подобно фонарным столбам, тянулись правильной вереницей вдоль нашей воздушной дороги. Он возложил на трубу свою могучую длань, и в первое мгновение мне померещилось, что он просто прислонился к трубе, устав от долгих скитаний по крутым, неудобным крышам. Насколько я мог судить по тем наполненным туманами безднам, которые зияли с обеих сторон, а также по тем красноватым и темно-золотым огонькам, которые мерцали в этих безднах, мы шествовали по крышам длинного ряда тех красивых, тесно сплоченных домов, которые все еще поднимают свои гордые головы над беднейшими кварталами города и свидетельствуют об оптимизме прежних строителей, рассчитывавших на богатые доходы. Весьма вероятно, что эти дома совершенно необитаемы, или же в них группами ютятся бездомные нищие, как в старинных, запущенных итальянских дворцах. Позже, когда туман несколько поднялся, я разглядел, что мы шагали вверх восходящими полукругами, ибо дом, на крыше которого мы находились, состоял из нескольких лежащих один на другом неровных кубических выступов, спускавшихся, подобно ступеням гигантской лестницы, к самой земле. Такие дома нередко встречаются в эксцентрическом зодчестве Лондона.

«Мои наблюдения над этой угрюмой панорамой были прерваны самым неожиданным образом: точно луна упала с неба. Гигант вместо того, чтобы убрать свою руку с трубы, о которую он облокотился, нажал на нее сильнее, и вся верхняя половина трубы вдруг быстро открылась, словно крышка чернильницы. Я вспомнил тогда короткую лесенку, которая была приставлена к садовой стене, и уже больше не сомневался в том, что грабеж был обдуман и подготовлен заранее.

«Следовало ожидать, что вид распахнувшейся дымовой трубы усугубит тот хаос, который происходил у меня в душе, но признаюсь, что это происшествие внесло в мою душу, сверх всякого ожидания, спокойствие и даже улыбку. Почему-то — в этом я тогда не мог отдать себе отчета — это дерзкое вторжение в дом соединялось в моем воображении с какими-то милыми воспоминаниями детства. Я вспомнил увлекательные и буйные арлекинады, виденные мною на заре моей жизни. В этих арлекинадах откидные трубы и крыши домов играли выдающуюся роль. Необъяснимое и неразумное спокойствие навеяла на меня мысль о том, что дома вокруг меня — все картонные, нарисованные на бумаге, глиняные, сделанные для того, чтобы из них то выскакивали, то исчезали игрушечные полисмены и паяцы. Преступление, задуманное моим спутником, казалось мне теперь не только простительным, но даже слегка комичным. Кто они такие, эти чванные, глупые господа с выездными лакеями, чистильщиками сапог, печными трубами и головными уборами, похожими на печную трубу, — как смеют они мешать бедному клоуну достать себе сосиски, когда ему хочется есть! Пожалуй, мне могут возразить, что собственность вещь серьезная. Но я тогда витал в туманах заоблачной выси и достиг высших пределов сознания.

«Мой спутник спрыгнул вниз, в темный зев открытой трубы. Должно быть, он нашел твердую почву у себя под ногами лишь глубоко в недрах трубы, так как, несмотря на его высокий рост, мне была видна лишь его косматая, всклокоченная шевелюра. И этот эксцентрический способ вторжения в человеческое жилище был мне чрезвычайно приятен: что-то далекое и вместе с тем родное вспомнилось мне при этом. Маленькие тру-

бочисты и «Дети воды» ¹⁾ пришли мне на память; но, по-моему, это было не то. Я сообразил наконец, почему у меня в душе это нелепое злодейство связалось с противоположными образами: ведь оно напомнило мне о сочельнике! Ведь Рождественский Дед проникает в детскую именно через дымовую трубу!

«В тот же миг лохматая голова исчезла в темном отверстии трубы; но снизу до меня донесся голос, который звал меня к себе. Через две или три секунды лохматая голова показалась снова. Лица я не видел, так как на светлом фоне огнезарного тумана голова казалась совершенно черной. Но Смит звал меня за собою с такой настойчивостью и с такой сердечностью, словно я был его стариннейшим, задушевнейшим другом. Безрассудно ринулся я в бездну, как Курций, все еще думая о Рождественском Деде и о традиционной прелести подобного вторжения сверху.

«В каждом благоустроенном барском доме, рассуждал я, имеется парадная дверь для господ и черный ход для торговцев. Но есть еще одна дверь: в потолке— для богов. Печная труба, это, если можно так выразиться,—подземный ход между небом и землей. Этот звездный путь служит Рождественскому Деду, равно как и жаворонку, туннелем между двумя родными стихиями: небом и семейным очагом. Люди же—рабы условностей, и кроме того боязнь бродить по высотам широко распространена среди них. Но дверь Рождественского Деда воистину парадная дверь; это вход во вселенную.

«Таковы те размышления, коим я предавался, про-

¹⁾ «Дети воды»—фантастический роман священника Чарльза Кингсли, популярный среди английских детей. В этом романе малолетний трубочист превращается в подводного жителя.

бираясь во тьме чердака. Затем мы стали спускаться по крутой и длинной лестнице вниз, в более обширное чердачное помещение. На середине лестницы я вдруг остановился, ибо во мне пробудилось желание последовать примеру моего сотоварища и бежать назад, пока не поздно. Но мне снова вспомнился Рождественский Дед, и я снова пришел в себя. Я вспомнил, с какою целью Рождественский Дед посещает наши дома и почему его всюду встречают, как желанного гостя.

«Мои родители были люди зажиточные, и всякие посягательства на чужую собственность внушали им истинный ужас. С юных лет я слышал от них всевозможные злые слова о грабителях, но слова эти были пристрастны. Много тысяч раз читал я в церкви десять заповедей. И вот, лишь в возрасте тридцати четырех лет, находясь на середине узкой лестницы, во тьме чердака, сделавшись соучастником кражи, я впервые в жизни постиг, что воровство, действительно,—дело зазорное.

«Однако было уже поздно возвращаться на путь добродетели, и я последовал за своим широкоплечим вожатым, который неслышною стопою прокрался в противоположный конец второго, более низкого чердака. Внезапно он нагнулся над одной из половиц, припал на колено и после нескольких бесплодных усилий поднял с натугой какую-то доску, повидимому — крышу чердачного люка. Снизу хлынул свет, и я увидел под собою освещенную лампой гостиную. В больших домах рядом с такими гостиными нередко устроены спальни. Этот свет неожиданный, как взрыв динамита, дал мне возможность осмотреть дверцу люка, и я увидел, что она покрыта плесенью и густым слоем пыли, и заключил, что до прихода моего предприимчивого друга люк, очевидно, долгое время не был употребляем никем. Но я

недолго думал об этом, так как ярко освещенная комната, находившаяся у нас под ногами, обладала какой-то сверхъестественной притягательной силой. Войти в современную квартиру таким необычным путем, через эту давно забытую дверь—да ведь это целая эпоха в душе человеческой: событие такого же порядка, как открытие четвертого измерения.

«Мой спутник прыгнул в комнату так быстро и бесшумно, что я волей-неволей последовал за ним, но, не имея его сноровки и опыта в деле совершения преступлений, не мог при своем падении соблюсти тишину. Не успел еще замереть в отдалении грохот моих сапог, как огромный грабитель быстро подошел к двери, приоткрыл ее, высунул голову, глянул на лестницу и начал долго прислушиваться. Затем, оставив дверь полуоткрытой, он вернулся, встал посреди комнаты и быстрым взором своих синих очей обвел обстановку и все украшения вокруг. Стены были весьма уютно обставлены книжными полками в том пышном, истинно-человеческом стиле, который делает стены живыми,—шкафом, который был до верху набит книгами, стоявшими там кое-как, ибо их часто вынимали оттуда—очевидно, для чтения в постели. Низенькая приземистая немецкая печка стояла в углу, точно красный раскоряченный чертенок, а несколько поодаль находился буфет орехового дерева с закрытыми дверцами. В комнате были три окна, высоких и узких. Оглянувшись еще раз, мой грабитель распахнул дверцы буфета и стал исследовать его содержимое. Очевидно, он не нашел ничего, кроме изящного граненого графинчика с какою-то жидкостью, в высшей степени похожей на портвейн. Фигура вора с этой заветной маленькой безделушкой в руках снова породила во мне чувство отвращения и гнева.

«— Не делайте этого!—крикнул я довольно бестолково,—потому что Рождественский Дед...

«— А,—сказал грабитель, поставив графинчик на стол и не сводя с меня взгляда,—вы тоже думали о нем?

«— Не могу выразить словами и миллионной доли того, что я думал!—с жаром воскликнул я.—Но в самом деле, послушайте... неужели вы не понимаете, почему дети не боятся Рождественского Деда, хотя он и приходит ночью, как вор? Ему прощаются его воровские приемы, потому что, когда он уйдет, число наших игрушек увеличится. Но если бы игрушек стало меньше? Из какой преисподней выползает тот низменный дьявол, который посмеет похитить у спящего ребенка его куклу и резиновый мячик? Какая греческая трагедия может быть мрачнее и злее, чем это утреннее пробуждение—без игрушек? Воруйте лошадей и собак, воруйте даже людей—но может ли быть что-нибудь более гнусное, чем похищение игрушек?

«Грабитель рассеянно сунул руку в карман, вынул оттуда большой револьвер и положил его на стол рядом с графинчиком, не спуская с меня своих синих задумчивых глаз.

«— Послушайте!—сказал я.—Всякое воровство есть похищение игрушек. Поэтому-то и грешно воровать. Со-кровища несчастных сынов человеческих должны быть неприкосновенны, потому что их ценность ничтожна. Я знаю, что любимый ягненок Натана просто игрушка на деревянной подставке. Я знаю, что виноградник Набота раскрашен, как игрушечный Ноев ковчег. И поэтому я не могу похищать эти вещи. До сих пор я не питал отвращения к краже, ибо представлял себе собственность в виде скопления ценных вещей, но похищать безделушки!—так низко я не паду никогда.

«Погода немного, я прибавил:—Нужно обкрадывать лишь мудрецов и святых. Их вы можете грабить, сколько вам будет угодно, но не трогайте малых суетных детей мира сего, не отнимайте у них жалких предметов, в которых вся их маленькая гордость.

«Он достал из буфета два бокала, наполнил их портвейном и поднес один из них к своим губам, приговаривая:—За ваше здоровье!

«— Остановитесь!—воскликнул я.— Возможно, что это последняя бутылка, уцелевшая от какого-нибудь жалкого виноградного сбора. Хозяин дома, может быть, гордится этой дрянью. Разве вы не поняли еще, что такая человеческая глупость священна?

«— Нет, это не последняя бутылка,—спокойно отвечал преступник.—В погребе имеется немало других.

«— Значит, вы знаете эту квартиру?—спросил я.

«— О, слишком хорошо!—ответил он с такой странной тоской, что мне почудилось в его голосе даже что-то застенчивое.— Я вечно пытаюсь забыть то, что я знаю—и найти то, что неведомо мне.

«Он осушил свой бокал.

«— Кроме того,—прибавил он,—это принесет ему пользу.

«— Что принесет ему пользу?

«— Вино, которое я пью,—ответил чудак.

«— Разве он пьет слишком много?

«— Столько же, сколько я.

«— Хотите ли вы этим сказать, что хозяин дома одобряет всё, что вы делаете?

«— Боже избави!—возразил незнакомец,—но он поневоле вынужден делать то же самое, что я.

«Почему-то мертвый лик тумана, глядевший во все три окошка, еще более сгустил атмосферу таинствен-

ности и даже какого-то ужаса вокруг этого высокого, узкого здания, в которое мы снизошли с небес. Снова в моем воображении возникли фигуры гигантских призраков; мне чудилось, что огромные лица египетских покойников, красных и желтых, прильнули к каждому окну и жадно глядят внутрь нашей маленькой освещенной комнатки, словно на сцену кукольного театра. Мой спутник, играя, вертел в руках револьвер и снова заговорил с прежней несколько жуткой откровенностью.

«— Я вечно стараюсь найти его и застигнуть врасплох. Я вхожу через чердаки, через люки, чтобы только застать его; но всякий раз, когда я его нахожу, он делает то же, что я.

«Как ужаленный вскочил я с места.

«— Кто-то идет!— вскричал я, и в моем крике послышался вопль испуга.

«Не снизу, не с лестницы, а со стороны спальни (что казалось мне еще более ужасным) раздались шаги, становившиеся все слышнее и слышнее. Не могу выразить словами, что предполагал я увидеть, когда отворилась дверь,—какую тайну, какое чудовище. В одном только я твердо уверен: я не ожидал увидеть то, что увидел.

«В раме раскрытой двери стояла тихая, очень спокойная, высокая молодая женщина. Было в ней что-то художественное, но что, я не в силах сказать. Ее одежда была цвета весны, волосы—как осенние листья. Лицо у нее было молодое, но уже умудренное опытом. Она сказала:

«— Я не слышала, как вы вошли.

«— Я прошел другим ходом,—последовал туманный ответ Проницателя.—Я забыл дома ключ от парадной двери.

«Я вскочил на ноги в припадке безумия и вежливости.

«— Мне очень жаль,—воскликнул я.—Знаю, что мое положение довольно двусмысленно. Не будете ли вы так добры, не скажете ли мне, чей это дом.

«— Мой,—ответил грабитель.—Позвольте представить вас моей жене.

«После обычных приветствий я неуверенно и медленно уселся на прежнее место; только к утру ушел я из этого дома. Миссис Смит (такую прозаичную фамилию носила эта далеко не прозаичная чета) некоторое время посидела в нашем обществе, болтая со мной в очень легком и непринужденном тоне. Она произвела на меня впечатление женщины, в которой странно сочеталась застенчивость с бойкостью. Было похоже на то, что эта женщина, изведавшая жизнь, все еще почему-то боялась ее. Возможно, что у нее были несколько взвинчены нервы от совместной жизни с таким непоседливым и ненадежным супругом. Как бы то ни было, но после того, как она отбыла во внутренние покои, этот необыкновенный человек излил на меня за бутылкой свою *апологию и автобиографию*.

«Учился он в Кэмбридже. Его отдали туда, чтобы он изучал математику. Готовили его к ученой, а не литературной карьере. Греческие и римские классики не входили в его учебную программу. В школах того времени царил беспросветный нигилизм; но плоть его восстала против духа, инстинктивно чуя, где правда. Его ум усвоил это темное вероучение; тело же не желало подчиняться уму. Правая рука Смита, по его словам, научила его страшным вещам. Он поднес свою правую руку с заряженным револьвером к виску знаменитого ученого и заставил несчастного лезть из окна и уцепиться за водосточную трубу. Смит объяснял свои действия тем, что злополучный профессор проповедывал

учение о предпочтительности небытия. Смита, конечно, исключили за такой неакадемический способ аргументации. До тошноты возненавидев пессимизм, который ежился под дулом его револьвера, он стал фанатиком радостной жизни. Он не пропускал ни одного собрания серьезно мыслящих людей. Он всегда был весел, но отнюдь не беспечен. Он шутил от всей души—не словами, но делами. Хотя в своем оптимизме он не доходил до вздорного утверждения, что все на свете пиво и кегли, но все же, повидимому, был свято уверен, что пиво и кегли—наиболее серьезное в жизни.—Что более бессмертно,—восклидал он,—чем любовь и война? Символ всякой страсти и радости—пиво, символ всех побед и сражений—кегли.

«В нем было то, что в старину называли торжественностью, когда говорили о том, как торжественны простые маскарады и свадебные пиршества. Но, несмотря на это, он отнюдь не был просто язычником, так же не был он просто шутником. В основе его эксцентричных выходок лежала непоколебимая, твердая вера—мистическая в своей сущности, даже детская и христианская.

«— Я не отрицаю того,—говорил он,—что священники нужны, чтобы напоминать людям о предстоящей им смерти. Я лишь утверждаю, что человечество в некоторые странные эпохи требует жрецов другого рода; их называют поэтами; они должны напоминать людям, что те еще не умерли, а живы. Интеллигенты, среди которых я доселе вращался, так мало чувствовали жизнь, что даже смерти не умели бояться, как следует. Даже для того, чтобы быть трусом, нужна живая, горячая кровь. До тех пор, пока им к самому носу не приставят дуло револьвера, они не поймут, что они еще живы. Если созерцать нашу жизнь на фоне столетий, весьма

возможно, что жизнь есть наука о смерти; но для этих жалких белых крыс смерть — единственно возможный способ познания жизни.

«Постоянно подвергал он свою жизнь отчаянному риску, то бродя по краю глубочайшей пропасти, то кидаясь вдруг вниз головой, чтобы поддержать в себе живое чувство, что он жив. Он бережно хранил в своей памяти подробности того тривиального и в то же время безумного события, которое открыло ему эту великую истину. Когда профессор повис на железной водосточной трубе, вид его длинных ног, вибрировавших в воздухе наподобие крыльев, напомнил ему старинное сатирическое определение человека: двуногое животное без перьев. Несчастного профессора чуть не погубила его голова, которую он так бережно холил; спасся он только благодаря ногам, к которым всегда относился с холодным пренебрежением. Желая поделиться с кем-нибудь этим открытием, Смит отправил телеграмму своему старому школьному товарищу (которого давно потерял из виду) о том, что найден человек с двумя ногами и что человек этот жив.

«Огненный столб его оптимизма ракетой взметнулся вверх, к звездам, когда он неожиданно влюбился. Катаясь в ялике, он забавлялся тем, что спускался вместе с лодкой в буйный водопад у самого шлюза реки, чтобы доказать себе, что он все еще жив. Вскоре однако он начал сомневаться в этом. В довершение всего он увидел, что подверг такой же смертельной опасности безобидную молодую женщину, катавшуюся одиноко поблизости и не желавшую спорить со смертью путем философских доказательств от противного. Весь мокрый, выбиваясь из последних сил, чтобы доставить пострадавшую девушку на берег, он, отчаянно жестикулируя, рассыпался

перед ней в извинениях. Когда же ему наконец удалось спасти ее, он, кажется, тут же на набережной сделал ей предложение. Но так или иначе, он женился на ней с такой же стремительностью, с какой он чуть не отправил ее на тот свет. Это была та лэди в зеленом платье, которой я только что пожелал спокойной ночи.

«Они поселились в узком, высоком здании на окраине города, неподалеку от Хайбери. Впрочем, я выразился не совсем точно. Можно утверждать, что Смит женат, что он счастлив в семейной жизни, можно даже сказать, что для него не только не существует других женщин, кроме собственной жены, но не существует и других очагов, кроме собственного; однако нельзя сказать, что он *поселился* в своем доме.—Я очень привязан к дому,—совершенно серьезно пояснил он,—и предпочитаю разбить окно и влезть в него, чтобы скорее попасть домой, чем опоздать к чаю.

«Он подхлестывал душу смехом, чтобы не дать ей уснуть. Его жена лишилась нескольких отличных служанок из-за того, что он стучал в дверь своей квартиры и, точно незнакомый, спрашивал, живет ли в квартире мистер Смит и что это за человек. Лондонские горничные обычно не любят, чтобы их господа впадали в такой трансцендентально иронический тон, и он никак не мог втолковать этим женщинам, что он спрашивает о себе самом для того, чтобы почувствовать к своим собственным делам тот же живой интерес, какой он чувствует к делам посторонних людей.

«— Я знаю, что здесь где-то живет человек по фамилии Смит,—говорил он таинственно,—в одном из высоких зданий на этой террасе; я знаю, что он безусловно счастлив, и все же мне ни разу не удалось посмотреть на него, как он наслаждается счастьем.

«Иногда в обращении с женой он проявлял такую за-
костенелую вежливость, точно он молодой иностранец,
безумно влюбившийся с первого взгляда. Иногда он
переносил эту пугливую поэтическую учтивость на самую
мебель; он извинялся перед стулом, когда садился на
него, поднимался по лестнице с осторожностью туриста,
восходящего на вершину горы. Он стремился обновить
в себе чувство истинной реальности. Иногда он ра-
зыгрывал роль незнакомца в ином, противоположном
смысле и входил в свой дом окольными путями, чтобы
почувствовать себя вором и разбойником; для этого он
был готов ворваться грабительским манером в свою
собственную квартиру...

«Всю ночь делился он со мной своими удивительными
признаниями, и только к утру я ушел от него. Когда
я прощался с ним на пороге его дома, последние клубы
тумана уже рассеялись, и солнечные лучи осветили вере-
ницу домов, убегающих куда-то вниз, подобно ступеням
гигантской лестницы. Мне казалось, что я у самого края
земли.

«Многие мне на это скажут, что я провел ночь с
сумасшедшим, с маниаком. Разве можно иначе назвать
человека, который, желая напомнить себе, что он же-
нат, притворяется, будто он холостой, человека, который
пожелал своего собственного добра, а не добра ближнего
своего? На это я могу ответить очень кратко, хотя
едва ли кто поймет мои слова. Я верю, что маниак этот
один из тех людей, которые не просто приходят на
землю, но посланы богом, посланы, как ветер кораблю.
Плачут ли они, или смеются, мы смеемся над их
слезами и смехом. Проклинают ли они мир, или благо-
словляют его, они никогда не находятся в гармонии с
ним. Правда, люди убегают от жала великих сатириков,

как от жала ехидны. Но верно и то, что они убегают от объятий великих оптимистов, как от объятий медведя. Ничто не влечет за собою больше проклятий, чем искреннее благословение. Хорошее — хорошо, плохое — плохо, в этом чудо, неизъяснимое никакими словами; его легче изобразить красками, чем выразить человеческой речью. Мы можем проникнуть в сокровеннейшую глубину небесного свода, и глубже, мы можем стать старше, чем самые древние ангелы, и все же мы не постигнем даже в слабейшей степени той двойственной страсти, с которой бог одновременно и ненавидит, и любит свой мир.

Остаюсь ваш покорный слуга

Раймонд Перси».

— Ой, свят! свят! свят! — вскричал вдруг Моисей Гулд.

Когда он сказал это, все остальные поняли, что они слушали чтение письма с глубочайшим религиозным смирением и даже покорностью. Что-то объединило их; может быть, священная легенда последних слов письма, может быть, то трогательное смущение, с которым Инглвуд читал это письмо, — его голос был проникнут особым утонченным уважением, которое свойственно людям неверующим.

— Ой, свят! свят! свят! — повторил Моисей Гулд.

Увидев, что замечание его дурно принято всеми, он пустился в объяснения, все более и более воодушевляясь.

— Смешно видеть человека, который проглотил осу, пока он откашливался, чтобы выплюнуть муху! — сказал он с приятной улыбкой. — Не видите ли вы разве, что совсем законопатили старика Смита? Если этот пастор

сказал правду, он сильно подгадил Смигу. Окончательно подгадил, ей богу. Мы видели, как он удирает с мисс Грэй (нижайшее почтение) в кэбе? Ну, а как обстоит дело с миссис Смит, у которой, по выражению каноника, застенчивость дивно сочетается с бойкостью? Мисс Грэй, кажется, не очень бойка, но как будто она порядком застенчива.

— Не будьте нахалом!—проворчал Майкэл Мун.

Никто не осмелился поднять глаза на Мэри, но Инглвуд взглянул на Инносента. Тот сидел, склонившись над своими бумажными игрушками, и глубокая морщина образовалась у него на челе, неизвестно, от стыда или тоски. Он осторожно расправил один угол бумажного корабля и придавал ему другую форму. Морщина разгладилась, и он облегченно вздохнул.

Глава III

КРУЖНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В БЕГСТВЕ

С неподдельным смущением поднялся Пим с места; он, как истый американец, отличался искренним—относительно научным—уважением к женщинам.

— Несмотря на то,—начал он,—что речь моего коллеги вызвала деликатные рыцарские протесты, я все же считаю нужным отметить, что вопрос, затронутый в этой речи, безусловно требует детального выяснения, хотя многие, быть может, найдут, что неутомимая жажда истины, которая руководит нами в наших поисках, неуместна здесь среди величавых руин феодального строя. Нами только что было рассмотрено дело по обвинению Смита в грабеже; следующее по порядку—

обвинение в двоеженстве. Защита, поставив себе неблагодарную задачу — добиться оправдания Смита в первом деле, тем самым признает его виновным во втором. Либо над Инносентом Смитом тяготеет попрежнему обвинение в краже, либо, если это обвинение отпадает, обвинение в двоеженстве приобретает еще более твердую почву. Все, впрочем, зависит от нашего отношения к вышеупомянутому уже письму каноника Перси. Исходя из этого, я считаю нужным воспользоваться предоставленным мне правом и хочу задать защите несколько вопросов. Могу ли я узнать, каким образом это письмо очутилось в руках у защиты? Получено ли оно ею непосредственно от самого подсудимого?

— Мы ничего не получали непосредственно от подсудимого,—спокойно ответил Мун.— Те немногие документы, которые имеются у нас, получены другими путями.

— Какими?—полюбопытствовал Пим.

— Если вы настаиваете,—ответил Мун,—извольте: мы получили их от мисс Грэй.

Доктор Сайрус Пим не только забыл на этот раз прикрыть свои глаза веками, но, напротив, открыл их весьма широко.

— Вы действительно хотите этим сказать, что в руках у мисс Грэй был документ, подтверждающий существование другой мисс Смит?

— Именно так,—сказал Инглвуд и сел.

Тихим и печальным голосом пробормотал доктор Пим несколько слов о силе гипноза, затем с видимым затруднением продолжал свою речь.

— К несчастью, трагическая истина, уже известная вам из письма каноника Перси, находит потрясающее подтверждение в других, весьма компрометантных документах, имеющихся в нашем распоряжении. Самым

важным и наиболее достоверным я считаю показание садовника, состоявшего на службе у Инносента Смита и имевшего случай лично присутствовать при одном из наиболее патетических актов его явной супружеской неверности. Мистер Гулд, пожалуйста, показание садовника!

С обычной неутомимой веселостью поднялся мистер Гулд с места, дабы продемонстрировать садовника. Садовник подтверждал, что он находился у мистера и миссис Смит в услужении, когда они еще жили в маленьком доме на окраине Кройдона. По тем деталям, которыми изобиловало показание садовника, Инглвуд мгновенно вспомнил это место. Домик Смитов был одним из тех полу-городских, полу-деревенских домов, которые невозможно забыть, потому что они кажутся границей, отделяющей деревню от города. Сад был расположен на взгорьи и, словно крепость, круто спадал на дорогу. Кругом расстилалась обычная сельская панорама. Белая дорога вилась по ней, и всюду виднелись пни, корни и сучья огромных серых деревьев, которые корчились и мотались под ветром. Но против самого сада, как бы в подтверждение того, что дорога эта—улица городского предместья, стоял фонарный столб желто-зеленого цвета, резко выделявшийся на сером деревенском пейзаже, а за углом торчал ярко-красный почтовый ящик ¹⁾. Да, да! Это было то самое место. Инглвуд не ошибся, он тысячу раз проезжал на велосипеде мимо этого дома и всегда, приближаясь к нему, смутно чувствовал, что здесь должно случиться нечто важное. Однако он даже

¹⁾ В Англии почтовые ящики имеют вид круглых широких столбов, приблизительно в рост человека. Они не прикрепляются к стене, как у нас, а стоят на панели, у самой мостовой.

вздрогнул, когда ему пришло в голову, что в любое время он мог бы увидеть там высунувшееся из-за садового куста лицо его страшного друга (или недруга) Смита. В показании садовника совершенно отсутствовали те живописные прилагательные, которыми было украшено письмо каноника, хотя, может быть, он и шептал их про себя, когда писал. Коротко и ясно поведал он, как мистер Смит в одно прекрасное утро вышел в сад, взяв грабли, и стал баловаться ими, что проделывал нередко и раньше. Он то щекотал граблями нос своему старшему сыну (у него было двое детей), то закидывал их вверх на дерево и отчаянными акробатическими прыжками, точно гигантская жаба в предсмертной агонии, взбирался на это дерево, чтобы снять их оттуда. Но работать граблями, как работают ими все, он даже и не попытался ни разу; поэтому садовник относился к его забавам холодно и сухо. Однажды октябрьским утром, проходя мимо дома с кишкой для орошения сада, он, садовник, увидел своего хозяина в полосатой красно-белой куртке (которая, быть может, была его обычной одеждой, но весьма походила на ночное белье). Хозяин стоял посредине лужайки и время от времени перекликался с женой. Жена стояла в спальне у окошка. Вдруг хозяин громко произнес следующие недвусмысленные слова:

— Я не хочу больше оставаться здесь! У меня есть другая жена и другие дети, гораздо лучше этих, далеко отсюда. У моей второй жены волосы еще краснее, чем ваши, и сад вокруг ее дома гораздо красивее вашего. Я сейчас же отправлюсь туда.

С этими словами он изо всех сил забросил грабли в такую высь, куда не залетела бы ни пуля, ни стрела, и снова поймал их за ручку. Затем он одним прыжком

перемахнул через ограду и без шляпы понесся по прилегавшей к саду дороге. Инглвуд живо представил себе картину этого бегства, так как дополнил ее видом знакомой местности. Он мысленно видел громадную фигуру великана с непокрытой головой и его зубчатые грабли, мелькавшие по извилистой дороге мимо фонаря и почтового ящика. Садовник, судя по его показанию, был готов клятвенно подтвердить, что Смит всенародно признался в своем двоеженстве, что грабли временно исчезли в небесах, а потом и хозяин окончательно исчез вместе с ними. К этому он прибавил, что он (садовник), как местный житель, может под присягой показать, что о Смите никаких дальнейших сведений ни у кого в тех местах не имеется, если не считать непроверенных слухов, будто кто-то его видел на юго-восточном побережье Европы.

Как это ни странно, однако последнее известие было тотчас же подхвачено Майкэлом Муном в самом начале его короткой и ясной защитительной речи. Он не только не отрицал сообщенных садовником сведений о бегстве Смита из Кройдона и его отъезде на континент, но даже сам подтвердил их на основании имевшихся у него документов.—Надеюсь,—заявил он,—ваш патриотизм настолько широк, что вы отнесетесь к словам трактирщика-француза с неменьшим доверием, чем к показанию садовника-англичанина. Будьте любезны, мистер Инглвуд, огласите письмо француза.

Не успело собравшееся общество ответить на заданный Муном щекотливый вопрос, как Инглвуд стал читать упомянутое показание. Оно было написано по-французски и гласило приблизительно следующее:

— «Мсье.—Да, я Дюробен из приморского кафэ Дюробена, находящегося у моря в Гра, несколько севернее

Дюнкерка. Я хочу написать вам все, что мне известно о незнакомце, вышедшем из морской волны.

«Я не люблю ни эксцентрических людей, ни поэтов. Благоразумный человек находит красивыми лишь те вещи, которые специально предназначены для украшения жизни, например, изящный цветник или статуэтка из слоновой кости. Нельзя допускать, чтобы красота завладевала всей жизнью человека, так же, как нельзя замостить всю улицу слоновой костью и засеять все поля геранью! Честное слово, мы тогда затоскуем о луковицах.

«Но читаю ли я свои мысли теперь, после происшествия, в обратном порядке, или в самом деле бывает такая атмосфера души, куда все еще не может заглянуть строгое око науки, но к стыду своему я должен признаться, что в этот достопамятный вечер я чувствовал себя, как поэт — маленький, вздорный поэтишка, распивающий абсент на сумасшедшем Монмартре.

«Решительно само море казалось абсентом — зеленой и горькой отравой. Никогда еще раньше оно не казалось мне столь новым, не похожим на прежнее. На небе была ранняя бурная тьма, наводящая на человека тоску. Ветер со свистом носился вокруг пестрого газетного киоска и вдоль прибрежных песчаных холмов. Вдруг я заметил рыбачий баркас, который бесшумно неся под темными парусами к берегу. Неподалеку от берега из баркаса выскочил мужчина чудовищных размеров и пошел прямо по воде. Вода не доходила ему до колен, хотя многим мужчинам она была бы по пояс. Он шел, опираясь на длинные грабли, или вилообразный посох, нечто вроде трезубца, и был похож на Тритона. Весь мокрый, с прилипшими к одежде нитями морской

тины, он прошел к моему кафэ и, присев за один из столиков на балконе, приказал подать сладкую вишневую наливку, которая хранится в моем погребе, хотя ее мало кто спрашивает. Затем это чудище вежливо пригласило меня распить с ним стаканчик вермута перед моим обедом. Мы разговорились. Он, повидимому, отплыл из Кента в маленькой рыбацкой лодченке, купленной им специально для этого плавания, по внушению какой-то странной прихоти, внезапно погнавшей его по Ламаншу и не позволившей ему дожидаться обыкновенных пассажирских пароходов. Из его довольно туманных объяснений следовало, что он разыскивал какой-то дом. На мой вполне естественный вопрос, где этот дом находится, он ответил, что и сам не знает, что дом лежит на острове, где-то в восточном направлении, где-то там,—он сделал неопределенный жест.

«Я спросил его, каким образом он, не зная, где находится дом, думает найти его. Тут лаконичность и обрывистость его объяснений сменилась самой отчаянной многоречивостью. Он дал такое детальное описание дома, которое удовлетворило бы, пожалуй, даже аукциониста. Я забыл почти все подробности, за исключением двух: фонарный столб около дома выкрашен в зеленую краску, а на углу возвышается в виде столба красный почтовый ящик.

«— Красный почтовый ящик! — воскликнул я в изумлении.— Но тогда этот дом, должно быть, находится в Англии!

«— Да, да, я забыл! — сказал он, утвердительно кивнув головой.— Да, да, именно так называется тот остров, который мне нужно найти.

«— Но *pot du pot!* — сердито воскликнул я.— Вы же, милейший, только что приехали из Англии!

«— Говорят, что то была Англия, да!—таинственно сообщил мне кретин. — Мне так и сказали в Кенте. Но жители Кента такие лгуны, что нельзя верить ни одному их слову!

«— Monsieur,—сказал я.— Вы должны простить меня. Я человек пожилой, и остроты молодых людей выше моего понимания. Я довольствуюсь здравым смыслом или, вернее, основываю свои рассуждения на том обобщенном понятии примененного к жизни здравого смысла, которое мы именуем наукой.

«— Наукой!—воскликнул незнакомец. — Единственное научное открытие, и великое радостное,—это то, что земля кругла.

«Со всевозможной деликатностью возразил я ему, что мой разум отказывается постичь смысл его слов.

«— Я хочу сказать,—пояснил он,— что кругосветное путешествие есть наикратчайшая дорога к тому месту, где мы теперь находимся.

«— Не будет ли несколько проще остаться на том же месте?—спросил я.

«— Нет, нет и нет!—с жаром воскликнул он.— Это очень длинный и очень скучный путь. На краю света, в последнем сиянии зари я найду ту женщину, которую назвал своей женой, и тот дом, который действительно мой. И еще зеленее будет фонарный столб у этого дома, и еще краснее почтовый ящик. Бывает ли с вами, — спросил он с неожиданной страстью, — бывает ли с вами, что вы стремглав убегаете из своего дома только для того, чтобы снова попасть туда?

«— Нет, не думаю,—ответил я. Рассудок велит человеку согласовать свои желания с теми средствами, которые дает ему жизнь. Я остаюсь здесь и счастлив,

что могу вести человеческий образ жизни. Все мои интересы сосредоточены здесь, все мои друзья живут здесь и...

«— И все же,—вскричал он, выпрямившись во весь свой гигантский рост,—вы совершили французскую революцию.

«— Прошу прощения,—сказал я, — мне еще не так много лет. Верно, какой-нибудь родственник.

«— Я хочу сказать, что люди, подобные вам, совершили ее, — воскликнул этот странный субъект. — Да, именно такие неподвижные, благоприличные, благоразумные люди совершили французскую революцию! О да, я знаю, многие относятся к ней отрицательно и говорят, что вы снова вернулись на то самое место, где стояли раньше, до нее. Но, чорт побери, мы только этого и хотим: попасть туда, откуда мы пришли! Революция всегда идет кружным путем. Всякая революция, как и всякое раскаяние, есть возвращение.

«Он был в таком возбужденном состоянии духа, что, как только он снова уселся, я перевел разговор на другую тему; но он стукнул своим огромным кулачищем по ветхому столу и продолжал:

«— Я желаю совершить революцию, но только не французскую, — английскую! Господь даровал каждому народу свои особые методы бунта! Французы, собравшись толпой, идут на приступ городской цитадели, англичанин идет на окраину города, и идет один. Но я тоже переверну весь мир вверх тормашками! Я сам переверну себя наизнанку и буду ходить на голове — в поставленной вверх ногами стране антиподов, где и люди, и деревья висят в воздухе вниз головой. Но моя революция, равно как и ваша, равно как и всякая революция, совершаемая у нас на земле, закончится в священ-

ном, благодатном месте—в райской сказочной стране—там, где мы были раньше!

«С этими словами, которые едва ли можно назвать разумными, он вскочил с места и исчез во мгле, подбросив в воздух свой трезубец и оставив на столе чрезмерно щедрую плату, что также может служить доказательством его ненормальности. Вот все, что я знаю относительно человека, приставшего к берегу в рыбацком баркасе, и я надеюсь, что показание мое послужит интересам правосудия.—Примите, мсье, уверение в моей глубочайшей преданности; имею честь быть вашим покорным слугой

Жюль Дюробен».

— Следующий документ, находящийся в нашем распоряжении,—продолжал Инглвуд, — письмо, полученное нами из Крацока, города, лежащего на центральных равнинах России; содержание письма таково:

«Милостивый государь,—зовут меня Павел Николаевич; я начальник станции, находящейся неподалеку от Крацока. Бесконечные вереницы поездов проходят мимо, увозя людей в Китай, но лишь очень немногие пассажиры сходят на той платформе, которая находится под моим наблюдением, так что жизнь моя течет однообразно, и я ищу утешения в книгах, имеющихся у меня под рукой. Вокруг меня нет никого, с кем я мог бы обменяться мыслями по поводу прочитанного, так как просветительные идеи в нашем краю еще не пустили столь глубоких корней, как в других частях моей обширной родины. Многие окрестные крестьяне даже не слышали о существовании Бернарда Шо.

«Я—человек радикального образа мыслей; я делаю

все от меня зависящее для распространения радикальных идей; но после подавления революции ¹⁾ просветительное дело становится у нас с каждым днем все труднее. Революционеры совершили много поступков, противоречащих основным принципам гуманности, с которыми они, вследствие недостатка книг в России, были знакомы весьма отдаленно. Я не одобряю их жестокости, хотя она и вызвана тираннией правительства; но теперь господствует тенденция, стремящаяся возложить ответственность за совершенные террористами злодеяния на всю интеллигенцию вообще. Этот взгляд вредно отражается на положении интеллигенции.

«В то утро я стоял на платформе в ожидании поезда. Незадолго перед этим закончилась железнодорожная забастовка, и поезда начали уже ходить, хотя и с большими промежутками. Из вагона вышел лишь один человек. Он показался вдали, на самом конце платформы, так как поезд был очень длинный. Был вечер, холодное небо было темно-зеленого цвета. Выпал легкий снежок, лишь кое-где побеливший равнину; вся местность была залита тусклым багрянцем, и только в ровных вершинах одиноких холмов, точно в озерах, отсвечивал печальный вечер. Чем ближе подходил по снегу тот пассажир, тем выше ростом становился он; никогда раньше не приходилось мне встречаться с таким высоким мужчиной, но он, пожалуй, казался еще выше, чем был на самом деле, так как его голова, при необычайной ширине его плеч, была сравнительно мала. Его могучий корпус был облечен в ветхую, прорванную куртку (в тускло-красные и грязно белые полосы), совершенно не подходящую для зимнего времени, в одной руке держал

¹⁾ Напоминаем, что роман написан в 1913 году.

он огромные грабли вроде тех, которые употребляются мужиками для сгребания бурьяна.

«Он не дошел еще до конца своего поезда, как наткнулся на шайку головорезов, которые после подавления революции перешли на сторону правительства и покрыли себя вящим позором.

«Я двинулся было ему на помощь, но он одним взмахом своих граблей с такой энергией расчистил себе дорогу, что беспрепятственно подошел ко мне сам, оставив позади себя озадаченных и пораженных хулиганов.

«Как только он поровнялся со мной, он тотчас обратился ко мне на довольно сомнительном французском языке и заявил, что ему нужен дом.

«— В наших местах не очень-то много домов,— ответил я на том же языке. — Тут были беспорядки... Вы знаете, революция была недавно подавлена. Дальнейшее строительство...

«— О нет, вы меня не поняли! — воскликнул он. — Я разумею настоящий дом — живой. Этот дом — несомненно живой дом, так как он все время бежит от меня.

«К стыду моему я должен признаться, что особый, неуловимый смысл его слов или его жесты произвели на меня сильное впечатление. Мы, русские, выросли в атмосфере народных сказок; их злополучное влияние и поныне сказывается в яркой пестроте наших икон и детских кукол. На одно мгновение картина дома, убегающего от человека, доставила мне удовольствие, — так медленно проникает культура в человеческое сознание.

«— А другого дома у вас разве нет? — спросил я.

«— Я покинул его, — последовал грустный ответ. — Не могу сказать, чтобы мой дом стал мне скучен, но я сам сделался скучен в моем доме. Моя жена лучше всех женщин в мире, и все же я перестал это чувствовать.

«— Итак,—сочувственно проговорил я,—вы, словно Нора мужского пола, ушли из дому по парадному ходу.

«— Нора?—вежливо переспросил он, думая, что это какое-то русское слово.

«— Я имею в виду Нору — героиню «Кукольного Дома» ¹⁾,—пояснил я ему.

«Он с удивлением посмотрел на меня, и я тогда понял, что он англичанин, так как все англичане уверены, что русские читают лишь «указы».

«— Кукольный Дом!—с жаром воскликнул он.—Ах, Ибсен был так неправ! Истинное назначение каждого дома именно быть кукольным домом. Разве вы не помните, что, когда вы были ребенком, то лишь маленькие окошечки вашего игрушечного домика были для вас подлинными окнами, а настоящие большие окна не существовали совсем?

«Какие-то смутные образы моего раннего детства сковали мне язык; но англичанин нагнулся ко мне и, не дожидаясь моего ответа, отчетливо прошептал:—Я открыл способ превращать большие предметы в маленькие. Я понял, каким образом можно всякий дом сделать кукольным,—отойдите от него на большое расстояние. Господь своей великой властью над пространством превращает все вещи в игрушки. Дайте мне один раз взглянуть на мой старый кирпичный дом с другого конца горизонта, и я снова захочу войти в него! Захочу увидеть опять этот славный зеленый фонарный столб перед нашей калиткой и милых маленьких человечков, которые, словно куколки, смотрят из окон! Ведь в моем кукольном доме окна открываются, как настоящие.

¹⁾ «Кукольный Дом»—пьеса Ибсена, более известная под названием «Нора».

«— Но зачем, — спросил я, — хотите вы вернуться в этот кукольный дом? Дерзко восстав, как Нора, против условностей, испортив свою репутацию с общепринятой точки зрения, осмелившись стать свободным, почему не хотите вы воспользоваться плодами вашей свободы? Величайшие современные писатели доказали: то, что называется браком, есть только минутная прихоть. Вы имеете право пренебречь этим вздором и бросить жену, как бросаете обрезки ногтей или клочья волос — после стрижки. Если вы покончили с этим, — то весь мир открыт перед вами. Хотя мои слова и покажутся вам странными, но свобода только здесь, только в России.

«Мечтательным взором окинул он темные оцепенелые поля, окружившие нас; только и двигалось во всей этой окрестности — длинное, извилистое лиловое облако дыма, извергаемое нашим паровозом, словно огнедышащим вулканом, — единственное теплое и тяжелое облако в тот ясный, холодный, бледно-зеленый вечер.

«— Да, — с глубоким вздохом промолвил незнакомый мужчина. — Да, я свободен в России. Вы правы. Я имею полную возможность войти в этот город, снова влюбиться в женщину, а может быть, и жениться опять на какой-нибудь здешней красавице и снова завести себе семью. Никто, никто не найдет меня здесь. Да, вы безусловно убедили меня в одной истине.

«Он произнес эти слова так таинственно, таким странным мистическим тоном, что я невольно спросил его, что он хочет сказать и в какой именно истине убедил я его.

«— Вы меня убедили, — сказал он, взглянув на меня своими кроткими глазами, — в том, что мужчине действительно грешно и опасно убегать от своей жены.

«— Но почему же опасно? — спросил я.

«— Потому что никому не удастся найти его,—ответил чужак,—а мы все желаем быть найденными.

«— Наиболее оригинальные современные мыслители,—заметил я,—Ибсен, Горький, Ницше, Шо—сказали бы, что сильнее всего на свете мы желаем, чтобы нас никто не нашел; мы хотим быть утраченными, ходить по непротоптанным дорогам и творить небывалое; порвать с прошлым и принадлежать будущему.

«Он выпрямился, как бы в забытьи, во весь свой гигантский рост и окинул взором расстилавшуюся перед ним (должен сознаться) довольно неприглядную картину— темно-пурпурную степь, заброшенную железнодорожную станцию и угрюмую толпу оборванцев.— Здесь я не найду того дома,—сказал он.— Мой путь— на восток— все дальше и дальше... на восток.

«И вдруг, с необычайным порывом, похожим на внезапную ярость, он обернулся ко мне и ударил концом своего посоха по замерзшей земле.

«— И если я вернусь на родину,—вскричал он,—меня, может быть, запрут в сумасшедший дом прежде, чем я попаду в мой собственный. Я действительно сбросил оковы условностей! Да, Ницше маршировал в шеренге манекенов глупой, старой прусской армии, а Бернард Шо пьет безалкогольные вина¹⁾ на окраинах Лондона. Но то, что делаю я, доселе не видано и не слышано. Та кругосветная дорога, по которой шествую я,—непротоптанная дорога; я верю в близость переворота. Я—революционер. Разве вы не видите, что все эти переломы, разрушения и побегы вызваны только желанием вернуться обратно в рай—к тому, что у нас было раньше, или, по крайней мере, к тому, о чем мы раньше слы-

¹⁾ Драматург Бернард Шо—вегетарианец, враг пьянства.

хали! Разве вы не видите, что человек ломает забор или стреляет в луну лишь затем, чтобы вернуться домой?

«— Нет,— ответил я после некоторого размышления.— Не думаю; я с этим не согласен.

«— А,— со вздохом облегчения произнес он,— теперь вы мне объяснили другую истину.

«— Что же именно?— спросил я.— Какую истину?

«— Почему ваша революция потерпела неудачу ¹⁾»,— сказал он и, резко повернув ко мне свою спину, вскочил на подножку вагона уже отходившего поезда. Долго глядел я на исчезающий в черневшей дали длинный, змеевидный хвост поезда.

«Больше я не видел его. Но, несмотря на то, что его взгляды не соответствуют передовым идеям нашего времени, он все же сумел заинтересовать меня; мне хотелось бы узнать, нет ли у него в печати каких-нибудь литературных трудов.

Ваш и т. д.

Павел Николаевич».

В этих странных обрывках чужой иноземной жизни было что-то сдерживающее: нелепый трибунал вел себя гораздо спокойнее, чем до сих пор, и Инглвуд мог приступить к чтению следующего документа без малейшего перерыва.

— Надеюсь, суд отнесется снисходительно к отсутствию в этом письме всяких церемонных обращений, обычных в нашей английской корреспонденции. Впрочем, оно изобилует церемониями особого рода.

¹⁾ Революция 1905 г.

«Небесные законы вечны: привет.

«Я Уонг-Хи, и я стерегу храм всех моих предков в роще Фу. Человек, упавший с неба и проникший ко мне, сказал, что это должно быть очень скучно, но я доказал ему, сколь он неправ. Правда, я живу все на одном и том же месте, так как мой дядя привел меня сюда, когда я был маленьким мальчиком; здесь я и умру. Но если человек живет на одном и том же месте, он видит, как это место меняется. Пагода моего храма недвижимо стоит среди деревьев, словно желтая пагода среди множества зеленых пагод. Но небо над ней бывает порою синее, как фарфор, порою зеленое, как нефрит, порою красное, как гранат. А ночь вечно черна и вечно возвращается снова, как сказал император Хо.

«Был вечер, когда тот человек неожиданно упал ко мне с неба; я не мог уловить ни малейшего шороха в верхушках зеленых деревьев, которые, точно море, шумят и волнуются у меня над головой, когда я всхожу по утрам на крышу моего храма. И все же он явился, точно слон, вырвавшийся на волю из армии великих индийских царей. Пальмы трещали, и бамбуковые деревья ломались у него под ногами, и внезапно в сиянии солнца он предстал перед храмом, высокий и стройный, выше прочих сынов человеческих.

«Красные и белые доски болтались на нем, словно карнавальные ленты, а в руке у него был посох с длинными зубьями, точно зубы дракона. Лицо его было бледно и взволнованно, как у всех белолицых: они похожи на мертвецов, одержимых демонами. Он заговорил на нашем языке, и речь его была отрывиста.

«Он сказал мне:

«— Это всего только храм, а мне надобен дом.

«И он с учтивой поспешностью добавил, что фонарь

у его дома был зеленого цвета и что на самом углу его сада находился красный столб.

«— Я не видел вашего дома, не видел и других домов,— ответил ему я.— Я живу в этом храме и служу богам.

«— Верите ли вы в богов?— спросил он меня, и голод, настоящий собачий голод засверкал у него в глазах. Вопрос показался мне весьма удивительным, ибо как человеку не верить в богов, если в них верили предки?

«— Господин мой,— ответил я,— людям необходимо простираť руки к небесам, если даже небеса пусты. Ибо, если боги существуют, то это обрадует их, а если богов нет, значит некому и огорчаться. Небеса то сияют, как золото, то блестят, как порфир; иногда они темны, как черное дерево, но деревья и храм стоят недвижимо. Великий Конфуций учил нас: если мы руками и ногами делаем всегда одно и то же, подобно мудрым птицам и зверям, то головой мы можем думать о многом, да, господин мой, и сомневаться во многом. Пока люди не перестали в установленные дни воздавать приношения риса и пока они в установленные часы зажигают светильники, не следует думать о том, есть ли боги, или нет. Дары умиротворяют—если не богов, то людей.

«Он подошел ко мне вплотную и сделался, казалось, еще выше, но глаза его были ласковы.

«— Разрушьте ваш храм,— сказал он,— и ваши боги будут свободны.

«Я улыбнулся, дивясь его неразумию, и ответил ему:

«— Итак, если не существует богов, у меня только и останется, что разрушенный храм?

«Гигант, у которого свет разума был отнят, простер ко мне свои огромные длани и стал умолять меня о

прощении. И когда я его спросил, в чем он себя считает передо мной виноватым, он ответил:

«— В том, что я прав.

«— Ваши идолы и императоры—такие старые, тихие, мудрые,—вскричал он,—стыдно, что они так неправы. Мы же, грубые, вульгарные насильники, мы причинили вам столько обид,—какой позор, что мы все же в конце концов правы!

«И я, все еще удивляясь безграничному его неразумию, спросил его, почему он считает правым и себя, и свой род.

«И он ответил мне:—Мы правы, потому что мы связаны тем, чем люди должны быть связаны, и свободны в том, в чем люди должны быть свободны. Мы правы, потому что мы сомневаемся в законах и обрядах и уничтожаем их, но мы не сомневаемся в нашем праве на уничтожение их. Вы живете обрядами, мы живем верой! Смотрите на меня! Меня в моей стране зовут Смип¹⁾. Я покинул свою страну, я обесчестил свое имя, чтобы искать по всему свету то, что принадлежит мне по праву. Вы стойки, как эти деревья, потому что вы не верите. Я же изменчив, как буря, потому что я верю. Я верю в свой собственный дом, который я снова найду. В конце концов будет у меня и зеленый фонарь, и красный почтовый ящик.

«И я сказал ему:—В конце останется только премудрость.

«Но едва я произнес *премудрость*, как он, испустив ужасающий крик, понесся вперед и скрылся среди деревьев. Я не видел больше того человека, не

¹⁾ Китайцы не выговаривают *th*, которыми по английски заканчивается фамилия Смит.

видал я и других людей. Добродетель премудрых—из тонкой прекрасной меди.

Уонг-Хи».

— То письмо, которое я сейчас оглашу,—сказал Инглвуд,—окончательно уяснит вам сущность странных, но безусловно невинных экспериментов нашего клиента. На конверте этого письма штампель какой-то горной дереvушки в Калифорнии. Вот оно от слова до слова:

«Сэр, я не сомневаюсь, что человек, недавно проходивший через горное ущелье Сиерры, именно тот, которого вы изображаете такими необычайными красками. Я живу здесь давно и, по всей вероятности, являюсь единственным постоянным обитателем этих гор. Я—владелец довольно примитивной таверны — нечто вроде лачуги, выстроенной на самом верху, над головокружительными стремнинами и опаснейшей горной дорогой. Зовут меня Луи Хара, но одно это имя не уяснит вам моей национальности ¹⁾. По правде сказать, она неясна и для меня. Трудно быть патриотом человеку, который уже пятнадцать лет обходится без человеческого общества; и там, где нет ни единой деревни, трудно создать нацию. Мой отец был ирландец—из тех горячих, необузданных ирландцев, которые водились в Калифорнии в старые годы. Моя мать была испанка, гордая своим происхождением от тех старинных испанских фамилий, которые издавна живут в окрестностях Сан-Франциско, хотя и поговаривали, будто в ее жилах есть примесь индейской крови. Я получил хорошее образование, страстно любил музыку и книги. Но, как многие люди

¹⁾ Луи—французское имя; Хара—ирландская фамилия.

со смешанной кровью, я был либо слишком плох, либо слишком хорош для окружающей жизни; испробовав множество различных профессий, я примирился со скромным, хотя и скучным существованием здесь, в этом кабачке среди скал. Живя в полном одиночестве, я перенял некоторые привычки первобытных людей. Зимой я, как эскимос, погребаю себя под грудой одежд, а жарким летом я, как индеец, хожу в одних кожаных брюках и для защиты от солнца покрываю голову огромной соломенной шляпой, величиной с зонтик. На поясе у меня постоянно висит длинный нож, а под мышкой торчит ружье, и, смею сказать, я произвожу довольно дикое впечатление на тех немногочисленных мирных путешественников, которые дерзают взобраться ко мне на вершину. Но, уверяю вас, что я все же не кажусь таким безумцем, как тот человек. По сравнению с ним я—Пятое Эвеню ¹⁾.

«Могу сказать, что пребывание в горах Сиерры странно действует на человеческую психику; приучаешься видеть в этих угрюмых, одиноких скалах не обыкновенные горные выси, а столбы, подпирающие самое небо. Крутые утесы вздымаются в небесную ширь; утесы, куда не взлететь и орлам, утесы такие огромные, что кажется будто они притягивают к себе небесные звезды и впитывают их в себя, точно подводные рифы, притягивающие к себе каждую блестку фосфора. Малые гребни гор нередко кажутся концом мироздания. Большие же горные террасы и башни кажутся не концом, но началом—грозным началом вселенной—ее могучим фундаментом. Горный кряж с бесчисленными разветвлениями раски-

¹⁾ Фешенебельная улица Нью-Йорка; там расположены дома миллиардеров и лучшие магазины.

нулся надо мной, точно каменное древо, поддерживающее, подобно светильнику, великие вселенские огни. Скалы были далеки от меня, ибо терялись в беспредельном пространстве, но звезды смыкались вокруг и казались невероятно близкими. Казалось, что планеты грохочут, как молнии, — так непохожи они были тут в высоте на те мирные небесные светила, которыми мы любимся снизу.

«Одно это могло сделать меня сумасшедшим, я не вполне уверен, что я не сошел с ума. Я знаю, там на горной тропе есть такой поворот, где скала несколько наклоняется вниз, и в бурные ночи мне чудится, будто она ударяется вершиной о другую скалу, да, город против города, крепость против крепости, и так всю ночь, до самого утра. В один из таких бурных вечеров и показался на горной тропинке тот чудак. Строго говоря, только чудачки и ходят по ней. Но тот своей эксцентрической внешностью превосходил всех до сих пор мною виденных странных людей.

«В руке у него были (непонятно, зачем) длинные, кривые, забрызганные грязью грабли, так обильно покрытые всевозможными травами, что они скорее походили на воинственное знамя древнего варварского племени, чем на простые грабли. Его волосы, такие же густые и длинные, как и висевшая на граблях трава, волнами спадали на его могучие плечи, а ветхая одежда, прилипшая к телу, состояла всего лишь из нескольких красных и желтых лоскутьев, как у индейца, покрытого перьями и осенними листьями. Грабли свои, или вилы (трудно определить, что это было в действительности) он употреблял иногда, как горную палку, а иногда (по его словам), как оружие. Не понимаю, зачем надо было ему прибегать к такому оружию, когда у

него в кармане находился великолепный шестизарядный револьвер, который он мне потом показывал. — Но револьвер, — сказал он, — я употребляю лишь для мирных целей. — Не могу постичь, что он этим хотел сказать.

«Он тяжело опустился на грубую, самодельную скамейку у входа в мою таверну. Я подал ему бутылку местного вина — из виноградников, расположенных ниже, которую он выпил с величайшим наслаждением, как человек, странствовавший долгое время среди чужих и жестоких людей и, наконец, увидавший родное. Затем он довольно бессмысленно уставился на грубый свинцовый фонарь, висевший у входа в мое обиталище. Фонарь этот старинный, но ценности никакой не имеет; мне подарила его моя бабушка много лет тому назад. Она была набожная старуха, на стекле фонаря нарисован Вифлеем, восточные волхвы и Звезда. Незнакомец настолько погрузился в созерцание небесно-синего одеяния Мадонны и блеска большой золотой звезды, что я тоже вслед за ним стал глядеть на картинку, впервые за последние четырнадцать лет.

«Медленно перевел он затем свой взор на восток, туда, где дорога круто спускается вниз. Ярко-фиолетовое закатное небо становилось красновато-серебряным вокруг темных краев горного амфитеатра; и рядом, отделяя нас от лощины, лежавшей внизу, гордо вздымался ввысь из самых недр земли крутой одинокий утес, называемый у нас Зеленым Пальцем. Игла эта, вероятно, вулканического происхождения — странного серого цвета, точно Вавилонская башня, испещренная какими-то черточками, похожими на непонятные иероглифы.

«Незнакомец безмолвно протянул руку по направлению к ней. Но не успел он еще открыть рот, как

я понял, на какой предмет он указывал. Прямо над огромной зеленой скалой висела в пурпурном небе яркая, единственная на небосклоне звезда.

«— Звезда на востоке!—странным, придушенным голосом произнес он.—Мудрецы шли за звездой и нашли наконец тот дом, который они искали. Но кто знает, найду ли я дом, если пойду за звездой.

«— Пожалуй, это зависит от того,—улыбаясь, ответил я,—являетесь ли вы мудрецом.

«Я не счел необходимым добавлять, что на мудреца он был мало похож.

«— Судите сами,—ответил он.—Я покинул свой дом потому, что не могу жить вдали от него.

«— Право, это звучит парадоксально,—заметил я.

«— Я слышал, как разговаривают мои дети и моя жена, я видел, как они ходят по комнате,—продолжал он,—и все время не покидала меня мысль о том, что они ходят и разговаривают в другом доме, за много тысяч миль от меня, под другими небесами, за целыми рядами морей. Я любил их ненасытной любовью, так как они были не только далеки от меня, но и недоступны. Никогда человеческое существо не было так дорого и желанно другому, как были они для меня; но я был холоден, как привидение. Я беспредельно любил их; и потому я отряхнул от моих ног прах моего дома и ушел, чтобы доказать свою любовь к этим людям. Я сделал больше. Я прищипорил землю так, что она описала полный круг, как машина, приводимая в движение ногой человеческой.

«— Хотите ли вы этим сказать,—воскликнул я,—что вы совершили кругосветное путешествие? Судя по вашему выговору, вы англичанин, но почему же в таком случае вы являетесь в Калифорнию с запада?

«— Мое паломничество еще не закончилось—с грустью в голосе ответил он.— Я стал пилигримом, чтобы не быть изгнанником.

«Едва он произнес это слово «пилигрим», как в моей отягченной житейскими невзгодами душе вспыхнули далекие проблески воспоминаний о том, как ощущали мир мои предки, и о том, какова была моя родина. Я снова посмотрел на разрисованный фонарь, в который ни разу не всматривался за последние четырнадцать лет.

«— Моя бабушка,—ответил я, понизив голос,— сказала бы, что все мы в этом мире изгнанники и что ни одна земная обитель не может излечить нас от священной тоски по истинному нашему дому,—тоски, которая до гроба не дает нам покоя.

«Он молча смотрел на орла, который, поднявшись с Зеленого Пальца, исчез, улетая в темневшую даль.

«Затем он сказал:

«— Думаю, что бабушка ваша права.

«Он поднялся, опираясь на свой обвитый травами посох.

«— В этом, по-моему, и кроется весь смысл,—продолжал он,— вся тайна бурной и ненасытной человеческой жизни. Думаю, однако, что к этому следует добавить еще кое-что. Я полагаю, что бог даровал нам любовь к определенным местам—к семейному очагу и родине—с особой благою целью.

«— Позвольте спросить, с какою?

«— Так как в противном случае,—сказал он, подняв грабли по направлению к небу и к зиявшей под ногами бездне,— мы боготворили бы это.

«— Что—это?—спросил я.

«— Вечность,—сказал он придушенным голосом.—

Вечность — величайший из идолов, самый могучий из соперников бога.

«— Вы имеете в виду пантеизм, бесконечность и тому подобные вещи? — переспросил я.

«— Я хочу сказать,—воскликнул он с возраставшей горячностью,—что если там на небе действительно есть для меня обитель,—то она должна иметь или зеленый фонарный столб и забор, или что-либо не менее предметное, личное, чем зеленый фонарь и плетень. Я хочу сказать, что господь бог велел мне любить один уголок земли, обслуживать его и творить во славу этого уголка всевозможные, даже безумные подвиги, дабы этот малый клочок был свидетелем против всех бесконечностей и софизмов о том, что рай существует где-то в определенном месте, а не везде, и что он представляет из себя нечто одно, а не все. И я нисколько не буду удивлен, если около небесной обители действительно будет стоять зеленый фонарный столб.

«С этими словами он вскинул грабли на плечо и спустился вниз по той же опасной тропе, оставив меня одного среди горных орлов. Но с тех пор, как он ушел, меня часто одолевает тоска бездомовья. Я скучаю по влажным лугам и грязным хижинам, которых никогда не видал; похоже на то, что вскоре я покину Америку.

Преданный вам

Луи Хара».

После короткого молчания Инглвуд сказал:

— Теперь нам остается огласить еще один, последний документ:

«Я пишу вам, чтобы сказать, что я—Руфь Дэвис—последние шесть месяцев нахожусь в услужении у миссис И. Смит в «Лаврах» около Крайдона. Когда я посту-

пила к ней, она жила без мужа, одна с двумя детками; она не вдова, но муж ее был где-то в отлучке. Он оставил ей много денег, она не очень беспокоилась о нем, хотя часто говорила, что он человек со странностями и что небольшое путешествие принесет ему пользу. Как-то вечером на прошлой неделе иду я с чайным прибором в сад и вижу такое, что чашки чуть не вылетели у меня из рук: вдруг над забором появляются длинные грабли и, как пика, вонзаются в землю. Вслед за ними на заборе, как обезьяна на палке, усаживается страшная, огромная фигура мужчины; волосы у него ужасно растрепаны, торчат во все стороны, одежда страшно перепачкана; он похож на Робинсона Крузо. Я вскрикнула, но госпожа моя даже не поднялась с места, а сказала с улыбкой, чтобы я дала этому человеку побриться. Когда он побрился, он, как ни в чем не бывало, присел к столу и выпил чашку чаю, и тогда я поняла, что это был сам мистер Смит. С тех пор он живет все время дома и не причиняет особых хлопот, хотя порою мне кажется, что он не в своем уме.

Руфь Дэвис».

«Я забыла сказать, что, оглядев свой сад, он сказал отчетливо и громко: — О, в каком чудесном месте вы живете! — как будто раньше он никогда не бывал в своем доме».

Гнетущая дремотная атмосфера воцарилась в комнате. Вечернее солнце послало в комнату один-единственный, тяжкий пыльно-золотой луч, который с неизъяснимой торжественностью осветил кресло, где прежде сидела Мэри Грэй; кресло было пусто, ибо молодая женщина ушла перед началом последнего дела. Миссис Дьюк

попрежнему спала. Инносент Смит в полумраке казался громадным горбуном; еще ниже склонился он над своими игрушками. Пятеро же мужчин, увлекаясь желанием убедить не суд, а друг друга, все еще сидели вокруг стола, подобно Комитету Общественного Спасения, и предавались отчаянным спорам.

Вдруг Моисей Гулд хлопнул одной ученой книгой о другую, уперся маленькими ножками в стол, откинулся в кресле назад, свистнул — громко и пронзительно, как локомотив, — и заявил, что все это сущий вздор.

Когда же Мун спросил у него, что именно он считает вздором, он быстро вскочил позади воздвигнутой им баррикады из книг и, разбросав лежавшие перед ним бумаги в разные стороны, стал, сильно волнуясь, пояснять свою мысль.

— Сказки, сказки, вы читали нам сказки! — выкрикнул он. — Я, конечно, не литератор, я простой человек, но я понимаю, что все это сказки! Я прямо — таки очумел от ваших философских выкрутасов, и мне хочется выпить. Освежиться бренди и содой! ¹⁾ Мы живем в Вест-Гемпстеде, а не в аду, и, короче говоря, есть вещи, которые могут случиться, а есть такие, которые не могут случиться.

— Мне казалось, — внушительно заметил Мун, — что мы совершенно отчетливо объяснили...

— Да, милейший, вы объяснили отчетливо, — с необычайной быстротой заговорил Моисей. — Вы умеете объяснить что угодно: вы даже слона, и того умудритесь так разъяснить, что от слона ничего не останется. Я не такой умник, как вы, но я и не набитый дурак, Майкэл Мун, и если слон находится у меня на пороге,

¹⁾ Брэнди — водка.

я не слушаю никаких разъяснений. — У него хобот, — говорю я. — Это мой чемодан, — говорите вы ¹⁾. — Но у него, треклятого, клыки! — говорю я. — Дареному коню в зубы не смотрят, — отвечаете вы. — Но он огромен, он ростом с дом, — говорю я. — Нет, это просто перспектива, — отвечаете вы, — и священная магия пространства. — Но слон трубит, как День Страшного Суда, — говорю я. — Это ваша совесть беседует с вами, Моисей Гулд, — говорите вы ласковым, важным голосом. — Прекрасно, у меня такая же совесть, как и у вас. Я не верю в то, что говорят нам по воскресеньям в церкви, не верю и вашим сказочкам, хотя вы произносите их, точно церковную проповедь. Я отлично знаю, что слон — это слон, громадина, уродина, злое животное, — и ваш Смит несколько не лучше, такой же!

— Хотите ли вы этим сказать, — спросил Инглвуд, — что вы сомневаетесь в достоверности документов, которыми мы доказали невиновность Инносента Смита?

— Да! Сомневаюсь! — запальчиво ответил Гулд. — Все ваши свидетели либо слишком далеко, либо слишком высоко. Как проверить все эти нелепые рассказы? Кто из нас поедет на железнодорожную станцию в Коски-Воски — или как вы ее называете? — купить воскресный номерок газеты Пинк? ²⁾ Кто полезет на вершины Сиерр, чтобы попасть в харчевню и прополоскать себе горло скверным калифорнийским вином? Но каждый из нас может пойти пройтись и взглянуть на пансион Вантинга в Уортинге.

Мун взглянул на говорившего с выражением искреннего (а быть может, и искусственного) удивления.

¹⁾ Непереводимая игра слов: trunk по-английски значит — *хобот*, и *чемодан*.

²⁾ «Pink» — воскресный спортивный листок.

— Каждый, — продолжал Гулд, — может посетить мистера Трипа.

— Это несомненно весьма утешительно, — сдержанно ответил Майкэл Мун. — Но зачем вам понадобилось посещать мистера Трипа?

— А вот зачем, — в сильнейшем волнении крикнул Моисей и стукнул обоими кулаками по столу. — Затем, что он может снестись с мистерами Генбери и Бутл, живущими на улице Петерностер Роод, и с аристократическим пансионном мисс Гридли в Эндоне, и с престарелой лэди Буллингдон, обитающей в Пендже!

— Если вы говорите о нравственных обязанностях, — сказал Майкэл, — то почему это вы считаете долгом каждого человека вступать в сношения с престарелой лэди Буллингдон, обитающий в Пендже?

— Я не говорю, что это долг каждого человека, — сказал Гулд, — я не стану утверждать, что это — удовольствие. Она может у каждого человека отбить аппетит, престарелая лэди Буллингдон. Но допросить ее — прямая обязанность обвинителя, следящего за невинным, безупречным мотыльковым порханием вашего друга Смита, и точно так же он обязан допросить остальных.

— Но почему вам понадобились все эти люди? — полюбопытствовал Инглвуд.

— Почему? Потому что мы собрали у них столько доказательств виновности Смита, что можем потопить пароход! — орал Моисей. — Потому что эти доказательства находятся у меня в руках; потому что ваш возлюбленный Инносент вор и разбойник, и вот вам перечень домов, которые он ограбил. Я не считаю себя святым, но ни за какие блага не хотел бы иметь на своей совести всех этих несчастных девиц. И я думаю, что субъект, который способен бросить их и даже, быть

может, убить, способен также надругаться над колыбелью ребенка и застрелить своего школьного учителя, так что я плюю на все ваши дурацкие сказочки.

— Я думаю, — изящно кашлянув, сказал доктор Пим, — что мы приступаем к делу несколько неправильным путем. В нашем деле это обвинение занимает четвертое место, и, пожалуй, будет лучше, если я представлю вам его в систематическом, научном изложении...

Никто не отозвался на эти слова, — никто, кроме Майкэла Муна. Мун тихо, еле слышно простонал. В комнате становилось темно.

Глава IV

СУМБУРНЫЕ СВАДЬБЫ; ИЛИ ОБВИНЕНИЕ В МНОГОЖЕНСТВЕ

— Передовой, мыслящий человек, — начал свою речь доктор Сайрус Пим, — должен проявить сугубую осторожность, касаясь проблемы брака. Брак, в сущности, есть ступень — и добавим: вполне естественная ступень — в медленном стремлении человечества к цели, которой мы еще не можем постичь; возможно даже, что мы еще не доросли до сознания ее желательности. В чем, господа, видим мы в настоящий момент этическое значение брака? Быть может, брак является пережитком.

— Пережитком? — не утерпел Мун. — Нет, нет! никто еще во всей вселенной не пережил брака. Возьмите всех женатых людей, начиная с Адама и Евы: повенчавшись, люди становятся мертвы, как баранина.

— Без сомнения, это весьма остроумное замечание! — холодно, сквозь зубы процедил доктор Пим. — Я не могу

вам сказать, каков истинный взгляд мистера Муна на этическую сущность брака.

— Я могу вам это сказать, — донесся из мрака задорный ответ ирландца. — Брак — это дуэль не на жизнь, а на смерть, от которой ни один уважающий себя человек не имеет права отказаться!

— Майкэл! — тихо проговорил Артур Инглвуд, — вы должны вести себя спокойнее.

— Мистеру Муну, — с отменным благодушием продолжал Пим, — этот институт представляется в несколько устарелом виде. В его глазах обряд этот имеет, повидимому, какой-то суровый характер. Он не стал бы делать разницы между разводом какогонибудь великого мужа, положим, Юлия Цезаря или Робинсона с Соленого Озера ¹⁾ — и разрывом семейных уз, который учинен каким-нибудь жалким бродягой. Наука смотрит на вещи шире и гуманнее. Подобно тому, как в убийстве наука видит лишь жажду разрушения, а в воровстве усматривает протест против медленного накопления богатств, так и многоженство в ее глазах есть доведенная до последних пределов инстинктивная страсть к разнообразию. Человек, подверженный этой страсти, неспособен к постоянству. Без сомнения, существует физиологическая причина этого вечного порхания с цветка на цветок — так же, как, к слову сказать, существует чисто физиологическая причина того припадка безудержной ворчливости, который овладел в настоящий момент мистером Муном. Наш великий естествоиспытатель Уинтерботтом дерзнул даже провозгласить следующее положение: — Для некоторых редких и утонченных мужских особей свободная любовь и многоженство является лишь удовлетворением их

¹⁾ Глава секты мармонов, практикующей многоженство.

потребности в разнородном и многообразном женском обществе, так же, как дружба удовлетворяет их потребности в разнородном и многообразном мужском обществе. Во всяком случае тип, тяготеющий к разнообразию, признан всеми научными авторитетами. Такой субъект, похоронив жену негритянку, женится *en secondes noccs* на альбиноске; такой субъект, освободившись из объятий великанши Патагонии, ласкает свое воображение картиной семейного счастья с низкорослой эскимоской. К этому типу следует, без сомнения, отнести и нашего подсудимого. Если ссылка на неизбежность рока, на непреодолимость злого искушения может послужить смягчающим вину обстоятельством, наш подсудимый несомненно заслуживает снисхождения.

— Защита ранее выказала чисто рыцарское благородство, приняв без лишних споров на веру часть представленных нами документов. Мы последуем этому исключительно великодушному примеру и признаем, что показание, данное каноником Перси, относительно лодки, шлюза и молодой жены Смита — безусловно правдиво. Следовательно, Смит женился на молодой лэди, которую чуть не утопил; нам остается решить, не поступил ли бы он более гуманно, если бы утопил ее, вместо того, чтобы жениться на ней. В подтверждение своих слов я намереваюсь познакомить защиту с одним документом, подтверждающим факт женитьбы Смита.

С этими словами он протянул Майкэлу вырезку из «Мейденхедской газеты», в которой упоминалось о состоявшемся бракосочетании дочери «возницы» ¹⁾ такого-

¹⁾ Coach—возница. Так называются в Англии репетиторы, «натаскивающие» юношей к экзаменам в высших учебных заведениях.

то (довольно известного педагога) с мистером Инносентом Смитом, бывшим студентом Брэкспирского колледжа в Кэмбридже.

Лицо доктора Пима приняло во время чтения этой газетной вырезки трагическое и вместе с тем торжествующее выражение.

— Я останавливаюсь на этом предварительном обстоятельстве, — глубокомысленно заявил он, — потому что одна эта газетная вырезка могла бы обеспечить нам победу, если бы мы гнались только за победой. Но нам нужна не победа, а истина. Поскольку дело касается данного специального случая, проблема может считаться решенной. Доктор Уорнер и я вступили в этот дом в исключительно тяжелый момент. Уорнеру, гордости Англии, случалось вступать не в один дом для того, чтобы спасти человека от смерти; но на этот раз он пришел, чтобы спасти невинную девушку от воплощенной чумы. Смит чуть не увез молодую лэди из этого дома: кэб и чемодан уже поджидали его у дверей. Он уверил ее, что повезет ее к своей тетке, а сам пока поедет за брачным разрешением. Эта тетка, — продолжал Сайрус Пим, и мрачная тень легла на его лицо, — как часто эта воображаемая тетка играла роль злой феи из фантастической сказки! Скольких благородных девушек обрекла она гибели. Много было девственных ушей, которым он нащепывал это священное слово! При звуке этого магического слова «тетя» пред умственным взором девушек мгновенно вставала веселость и нравственная чистота англо-саксонского семейного дома. Кипящий чайник, мурлыкающие котятки рисовались воображению девушки в тот роковой момент, когда кэб уносил ее на верную смерть.

Инглвуд поднял голову и, к своему удивлению, увидел,

что американец во время этой тирады не только сохранил полную серьезность, но был искренно взволнован своей красноречивой попыткой проникнуть в чуждую ему психологию девственницы.

— Во всяком случае мы можем утверждать, что этот субъект, этот Смит, будучи женатым человеком, предстал как свободный холостяк, по крайней мере перед одной невинной, неопытной девушкой, проживающей в этом доме. Присоединяясь к мнению моего коллеги мистера Гулда, я вместе с ним готов утверждать, что ни одно преступление не может сравниться с этим. Наука колеблется высказать свое решающее слово относительно того пережитка, который у наших предков именовался чистотой семейного очага. Возвышенные колебания! Но можно ли колебаться, когда у вас перед глазами раскрывается вся низость гражданина, осмелившегося путем вульгарных экспериментов над живыми женщинами предвосхитить решение науки по этому вопросу?

— Женщина, упомянутая священником Перси в его отчете, быть может, и есть та самая, о которой говорится в газете. Если этот краткий порыв к постоянству и верности остановил хоть на время безудержный поток его распутной жизни, мы не станем доискиваться, законен ли сам по себе заключенный им брачный союз. Но вскоре после этого, увы! он, повидимому, еще глубже погряз в зыбучем омуте измены и позора.

Доктор Пим закрыл глаза, но, к несчастью, в комнате к тому времени наступила такая темнота, что его интимный жест не произвел на этот раз обычного непосредственного морального действия на слушателей. После некоторой паузы, которой придан был характер безмолвной молитвы, он продолжал:

— Первоначальные сведения о непрекращающихся противозаконных брачных сожительствах подсудимого мы почерпнули из письма, присланного нам лэди Буллингдон. Послание это проникнуто тем высокомерным презрением, которое так естественно звучит в устах женщины, взирающей на род человеческий с высоких башен нормандского родового замка. Сообщение, которое она прислала нам, гласит:

«Лэди Буллингдон помнит тот прискорбный инцидент, о котором ей пишут, но не имеет желания описывать это дело в подробностях. Полли Грин была довольно сносной портнихой и жила около двух лет в деревне. Ее замкнутый и одинокий образ жизни вредно отражался как на ней, так и на общем моральном уровне всей деревни. Поэтому лэди Буллингдон дала ей понять, что она отнеслась бы благосклонно к замужеству молодой девушки. Окрестные крестьяне естественно пожелали угодить лэди Буллингдон, и у портнихи появилось немало поклонников. Все кончилось бы благополучно, если бы не постыдная эксцентричность или даже испорченность означенной девицы Полли Грин. Лэди Буллингдон полагает, что всюду, где есть деревни, должны быть и деревенские идиоты, юродивые; кажется, и у нее в деревне проживало одно из этих жалких созданий. Лэди Буллингдон видела названного идиота всего лишь однажды и потому не может не признать, что грань между природным идиотом и обыкновенным крестьянином не так-то легко провести. Все же она тогда обратила внимание на его необычайно маленькую голову, не соответствующую огромному туловищу. Он появился в день выборов, имея в петлице розетки обеих враждующих партий. Это окончательно убедило лэди Буллингдон в его ненормальности.

Лэди Буллингдон была весьма удивлена, когда узнала, что этот помешанный домогается, в числе других, руки вышеназванной девушки. Племянник лэди Буллингдон допрашивал несчастного по этому поводу и заявил ему, что нужно быть ослом, чтобы помышлять о подобных вещах. Тот с идиотской усмешкой ответил, что обычно ослы обожают морковь. Но лэди Буллингдон была поражена еще больше, когда узнала, что жалкая девушка склонна принять это чудовищное предложение, хотя к ней и сватался подрядчик Гарс, принадлежавший к более высокому общественному кругу, чем она. Само собой разумеется, что лэди Буллингдон не могла примириться с подобным браком, и несчастная пара решила обвенчаться тайно. Лэди Буллингдон не может в точности припомнить фамилию того человека, но ей кажется, что звали его Смит. В деревне он был известен под кличкой Инносент. Лэди Буллингдон полагает, что он впоследствии убил девицу Грин в припадке буйного помешательства».

— Следующее письмо, — продолжал Пим, — замечательно по своей лаконичности, но я полагаю, что оно бьет в цель так же верно, как и предыдущее. Оно написано на бланке издательской фирмы мистеров Генбюри и Бутл, и содержание его таково:

«Сэр. — Письм. ваш. получ. и проч. Слух о переписчице, очевидно, относится к некоей Блэйк, покинувшей девять лет назад нашу контору, дабы выйти замуж за шарманщика. Случай, несомненно, исключительный и привлек внимание полиции. Барышня работала превосходно вплоть до октября 1907 г., когда, повидимому,

сошла с ума. Письмо, относящееся к тому времени, при сем прилагается.

Ваш и т. д.

В. Трип».

— Более подробный отчет гласит:

«Октября, 12-го числа нашей фирмой было отправлено письмо в контору переплетной мастерской гг. Бернарда и Джюка. Когда мистер Джюк вскрыл его, он прочел следующее: «Сэр, наш мистер Трип явится к вам в три, так как мы желаем узнать, действительно ли 00000073вв!!! хуг!». Прочитав это письмо, мистер Джюк, человек игривого ума, тотчас же послал ответ следующего содержания: «Сэр, после совещания с участниками нашей фирмы, честь имею вам сообщить, что вопрос о том, действительно ли 00000073. вв!!! хуг! — решен в отрицательном смысле. *Д. Джюк».*

«По получении этого удивительного ответа наш патрон, мистер Трип, вытребовал копию посланного им письма и убедился, что машинистка, вместо продиктованных им фраз, настрочила ряд бессмысленных иероглифов. Подозревая, что она сошла с ума, мистер Трип позвал ее и стал расспрашивать, но ее ответ отнюдь не рассеял его подозрений, так как она заявила, что у нее всегда происходит такое временное помрачение ума, когда до ее ушей доносятся звуки шарманки. Истерическое и неуравновешенное состояние духа возрастало у нее все более: она сделала целый ряд самых неправдоподобных признаний: так, она сообщила, что она помолвлена с шарманщиком, что он в ее честь обычно исполняет чуть не целые концерты на этом инструменте и что она в таких случаях имеет обыкновение выстукивать ему ответ на пишущей машинке; слух же у шарманщика настолько тонок, и он так страстно любит свою невесту,

что он, по ее словам, без всякого труда улавливает тембр различных букв по одному только стуку и с таким наслаждением воспринимает сухую трескотню этого аппарата, словно слышит райскую мелодию. Конечно, мистер Трип, да и все мы в конторе отнеслись к ее сообщениям с той сугубой внимательностью, которую надо проявлять, когда имеешь дело с человеком, коего надлежит возможно скорее отправить под опеку его родственников. Но как только мы спустились вниз, рассказ нашей служащей тут же на лестнице получил самое разительное и, я бы даже сказал, сверхъестественное подтверждение; шарманщик, огромный мужчина с необычайно маленькой головой — явно ненормальный субъект — находился тут же поблизости и, пододвинув свою шарманку, словно таран, к самому крыльцу нашего дома, громогласно требовал, чтобы ему выдали его нареченную. Спустившись вниз, я застал следующую сцену: он стоял, простирая к ней свои огромные, как у обезьяны, ручки и декламировал какие-то стихи. Хотя мы и привыкли к тому, что безумные являются в нашу редакцию и читают стихи, но никак не ожидали того, что произошло вслед затем. Его стихи начинались такими словами:

Очи ясные, прекрасные,
Кудри...

впрочем, дальше этих слов он и не шел. Мистер Трип двинулся было к нему, но в ту же минуту гигант схватил несчастную переписчицу в свои объятия и, посадив ее, точно куклу, к себе на шарманку, умчался с быстротой аэроплана. О случившемся я поставил в известность полицию, но найти эту удивительную пару оказалось невозможно. Я очень жалею об этом; девушка была не только мила, но для своего круга весьма образована.

Так как я теперь ухожу от г-д Генбюри и Бутл, то я внес описанное выше происшествие в памятную книжку этой фирмы.

Обри Кларк.

Редактор издательства гг. *Ганбюри и Бутл*.

— И, наконец, последнее письмо, — с торжествующим видом продолжал Пим, — написано одной из тех высокочтимых женщин, под чьим руководством английские девушки достигли в последнее время таких блестящих успехов в хоккее, высшей математике и прочих областях совершенства.

«Дорогой сэр—(пишет она).—Я ничего не имею против сообщения вам подробностей упомянутого вами инцидента, хотя мне отнюдь не желательно широкое распространение этой истории. Такие истории сами по себе занимательны, но не всегда содействуют процветанию женских учебных заведений. Дело происходило следующим образом. Мне понадобилось, чтобы кто-нибудь прочел у меня в заведении лекцию по филологии или истории—лекцию, которая при солидном воспитательном материале носила бы популярный и занимательный характер, так как ею я предполагала закончить учебный год. Я вспомнила, что читала в каком-то журнале небезынтересную статью некоего мистера Смита из Кэмбриджа. Статья была посвящена его фамилии (довольно распространенной) и свидетельствовала о солидных познаниях автора в области генеологии и топографии. Я написала ему письмо с просьбой приехать к нам и прочесть лекцию об английских фамилиях; и он, действительно, приехал. Лекция была блестяща, смею сказать, даже слишком блестяща. Другими словами, уже в самом

начале лекции нам, то-есть мне и прочим преподавателям, стало совершенно ясно, что этот субъект несомненно свихнулся. Начал он—довольно разумно—с того, что подразделил все существующие фамилии на два разряда—на фамилии, имеющие своим корнем местность, и на те, которые происходят от какого-нибудь ремесла. Далее, он высказал (на мой взгляд довольно верную) мысль, что отсутствие смысла в фамилиях позднейшей формации есть признак упадка цивилизации. Но затем он с невозмутимым видом стал утверждать, что человек, носящий фамилию, имеющую созвучие с какой-нибудь местностью, должен непременно селиться в той местности и что всякий человек, с «ремесленной» фамилией, должен заниматься указанным в его фамилии ремеслом; что люди, фамилии которых происходят от какого-нибудь цвета, должны носить одежду соответствующего цвета и что человек, носящий имя какого-нибудь дерева или растения (как Куст или Роза), должен носить эти растения на себе, а также окружать себя ими. В прениях, которые возникли после лекции в школе, многими старшими ученицами было ясно и даже весьма энергично указано на те трудности, которые сопряжены с исполнением подобного проекта. Так, например, одна из учениц, мисс Янгхазбэнд¹⁾, указала на невозможность выполнения предназначенной ей роли. Мисс Мэн²⁾ столкнулась с подобной же дилеммой, из которой не могли бы ей выпутаться и самые современные взгляды на взаимоотношение полов. Некоторые молодые лэди, носящие такие фамилии, как Лоу, Кауэрд и Крайвен³⁾,

¹⁾ Молодой муж.

²⁾ Мужчина.

³⁾ Низкая, Трусиха, Подлая.

с большой запальчивостью восставали против этой идеи. Но это было уже по окончании лекции, а во время ее произошло следующее: лектор вытащил вдруг из своего чемодана несколько подков и тяжелый железный молот и объявил во всеуслышание, что он намерен немедленно же открыть кузницу в окрестностях школы ¹⁾, при чем предложил каждой из слушательниц встать на защиту его идеи, придав ей значение героической революции. Присутствовавшие при этом учительницы, совместно со мною, сделали попытку остановить сумасшедшего, но должна признаться, что именно наше вмешательство и дало повод к новому, отчаянному припадку буйства. Дико размахивая своим молотом, он неистово и громко спрашивал у присутствующих их имена; и случилось, что мисс Браун ²⁾, одна из самых юных учительниц в моем заведении, действительно была в коричневато-красном костюме, очень мило гармонировавшем с более ярким цветом ее волос, что, конечно, было небызвестно и ей. Она была весьма миловидна, а миловидные девушки отлично разбираются в подобных вещах. Но когда маниак услышал, что у нас есть мисс Браун, носящая на самом деле коричневый костюм, то его *idée fixe* вспыхнула, как пороховой погреб, и он тут же в присутствии всех учительниц и учениц сделал предложение этой барышне. Можете себе представить действие, произведенное таким поступком в женском пансионе! Во всяком случае, если у вас для подобной картины не хватит силы воображения, то у меня нет сил, чтобы описать ее.

«Анархия, конечно, улеглась через неделю или две

¹⁾ Смит по-английски значит кузнец.

²⁾ Браун—коричневый.

после этой удивительной лекции, и я могу теперь вспоминать о происшедшем, как о давно забытом комическом эпизоде. Однако, я еще не упомянула об одном любопытном последствии этой истории, а вам, как вы видите, важна именно эта сторона дела; но мне желательно, чтобы вы считали эту часть моих показаний более конфиденциальной, чем все остальное. Мисс Браун, во всех отношениях достойная девушка, неожиданно тайно покинула нас через два-три дня после вышеописанной лекции. Никогда раньше не могла бы я думать, что подобное нелепое происшествие способно вскружить ей голову.

«Примите уверение в моей преданности

Ада Гридлей».

— Думаю, — с подкупающей простотой произнес Пим, — что эти письма говорят сами за себя.

Мистер Мун поднялся с места. Уже смеркалось, так что, когда он открыл рот, трудно было разобрать по выражению его лица, примешивается ли его ирландская ирония к его ирландскому пафосу.

— В течение всего следствия, и в особенности в последней его части, обвинение основывалось главным образом на том обстоятельстве, что дальнейшая судьба несчастных женщин, соблазняемых Смитом, осталась неизвестной до сих пор. Не существует ни малейшего указания на то, что они были убиты подсудимым, но это предположение возникает всякий раз, как только ставится вопрос о причинах их смерти. Но, собственно говоря, меня мало интересует вопрос о том, как они умерли, когда они умерли, и умерли ли они вообще. Но зато меня живо интересует другой, аналогичный вопрос: вопрос о том, как они родились, и родились ли они

вообще? Не поймите меня превратно. Я отнюдь не отрицаю факта существования этих девиц, не сомневаюсь в правдивости тех показаний, которые мы слышали здесь. Я просто хочу отметить тот любопытный факт, что лишь об одной из этих жертв, о девушке из Мейденхэда, известно, что она имеет родителей и какое-то постоянное место жительства. Все же остальные — перелетные птицы — гостя, одинокая портниха, одинокая переписчица на машинке. Лэди Буллингдон, взирающая на человеческий род с высоты своих башен, купленных ею, кстати сказать, от Уортонов на деньги ее отца — мыльного фабриканта, когда она выскочила замуж за прогоревшего джентльмена из Улстера, — лэди Буллингдон, повторяю, глядя с высоты своих башен, действительно видела нечто, названное ею Полли Грин. У мистера Трипа, в конторе Генбюри и Бутл, действительно служила переписчица, которая была помолвлена со Смитом. Мисс Гридлей, хоть идеалистка, но безусловно правдивая дама. Она действительно содержала, кормила и поила молодую девушку, которую Смит впоследствии тайно увез. Мы согласны с тем, что все эти женщины жили. Но мы спрашиваем: родились ли они?

— Чорт возьми! — вне себя от восторга вскричал Моисей Гулд.

— Вряд ли возможно, — со спокойной улыбкой перебил оратора Пим, — отыскать более разительный пример презрения к истинному научному методу. Ученый, удостоверившись в факте бытия и сознания субъекта, должен вывести из этого и предшествовавший факт зачатия.

— Если те девицы, — нетерпеливо сказал Гулд, — если они действительно живы (*живы, живы, живы, о!*), я держу пари на пять шиллингов, что все они родились.

— Хотите ли вы уверить нас, что...—начал было Пим.

— Теперь я задаю второй вопрос, — строго прервал его Мун. — Не может ли заседающий в этом зале трибунал осветить одно действительно необычайное обстоятельство. Доктор Пим в своей интересной лекции—кажется, о взаимоотношении полов — заявил, что Смит был рабом страсти к разнообразию, бросающей человека из объятий негритянки в объятия альбиноски, от патагонской великанши к карлице-самоедке. Но имеются ли в данном случае доказательства такого разнообразия? Обнаружены ли следы великанши в прочтенных нами показаниях? Была ли машинистка эскимоской? Подобное красочное обстоятельство, я думаю, не ускользнуло бы от авторов письма. Была ли портниха лэди Буллингдон негритянкой? Внутренний голос говорит мне, что нет, я уверен, что лэди Буллингдон сочла бы негритянку, в виду ее демонстративной наружности, чуть ли не социалисткой, и думаю, что даже к альбиноске она отнеслась бы с сомнением.

— Но питает ли Смит в действительности такую страсть к разнообразию, как утверждает ученый доктор? Из имеющихся у нас документов можно усмотреть как раз противоположное. Только в одном из опубликованных документов дано точное описание одной из жен подсудимого — краткая, но в высшей степени поэтическая характеристика эстета-каноника:—Ее одежда была цвета весны, а ее волосы как осенние листья.—Осенние листья, правда, бывают различных цветов, из коих некоторые положительно неприемлемы в качестве цвета волос (зеленый, например); но всего вероятнее, что каноник имел в виду лэди с темно-красным или красным цветом волос, так как женщины с этим цветом волос любят наряжаться в легкие, изящные зеленые ткани.

Что же касается другой жены, то мы знаем, как ее эксцентричный возлюбленный-ответил, когда его обозвали ослом: — ослы любят морковь.—Замечание, которое лэди Буллингдон, очевидно, считает простым, бессмысленным восклицанием деревенского юродивого, помешанного на еде, может получить, однако, другое, вполне понятное значение, если мы только предположим, что у Полли были рыжие волосы. Говоря о следующей жене, мы видим, что мисс Гридлей отмечает то обстоятельство, что вышеупомянутая учительница носила «темно-красный костюм, очень мило гармонировавший с более ярким цветом ее волос». Иными словами, волосы у девушки были ярче темно-красного цвета. Далее, романтически настроенный шарманщик, декламируя свое стихотворение в конторе, так и завяз на следующих словах:

Очи ясные, прекрасные,
Кудри...

— Но мне думается, что основательное изучение худших современных поэтов даст нам возможность угадать, что кудри «огненные-красные», или «кудри бронзовые красные» — были недостающим фрагментом строки, которая была подсказана рифмой «прекрасные». Еще раз, значит, надо предположить, что Смит влюбился в девушку с темно-красными или золотисто-рыжими волосами, — пожалуй, — прибавил он, взглянув на конец стола, — нечто вроде цвета волос мисс Грэй.

Сайрус Пим опустил веки и нагнулся вперед, готовый снова выступить с одним из обычных педантических возражений. Но Моисей Гулд с выражением безграничного удивления приложил вдруг свой указательный палец к носу; какой-то огонек блеснул в его черных глазах.

— Мысль, изложенная мистером Муном, — заметил Пим, — если она верна, ничуть не противоречит нашему взгляду на преступный характер безумия И. Смита, — взгляду, положенному нами в основу обвинения. Наука давно уже считалась с возможностью подобной аберрации. Неизлечимая страсть к физически сходным женщинам есть одно из самых обычных преступных извращений, а если мы отречемся от узкого взгляда на это явление и представим его в свете индукции и эволюции...

— Что касается последнего замечания, — медленно и хладнокравно произнес Майкэл Мун, — то я позволю себе облегчить свою душу и поведать вам одно желание, которое мучило меня во время всех наших прений. Я желаю, чтобы индукция и эволюция отправились в тартарары и сварились в своем соку. Недостоящее Звено¹⁾ и прочие мудрые вещи хороши для малых ребят; я же говорю лишь о том, что мы знаем. О Недостоящем Звене мы знаем только то, что его недостает — и никто никогда его не достанет. Говоря словами старой поговорки, — голову вытащил, хвост увяз. Если вы находите человеческие кости, вы заключаете, что покойник жил много лет тому назад; если же вы их не находите, это вам служит указанием, что покойник жил очень, очень давно. Точно такую же игру ведете вы в деле Смита. Так как голова Смита по сравнению с остальным туловищем мала, вы называете его микрокефалом; если б у него была большая голова, вы сказали бы, что у него водянка мозга. Пока вы находили, что у злополучного Смита довольно пестрый гарем, эта пестрота служила вам доказательством его сумасшествия; теперь, когда

¹⁾ Недостоящим Звеном эволюционисты 60-х годов именовали проблематическую обезьяну, которая по своему типу должна была быть ближе всего к человеку.

его гарем становится все более монотонным, монотонность именно и служит вам доказательством его ненормальности. К сожалению, я уже не ребенок и с покорностью переносу все тягости, связанные с моим возрастом. Поэтому мне будет особенно приятно воспользоваться немногими привилегиями взрослого; и со всей возможной учтивостью я прошу вас не морочить мне голову длинными словами, когда требуются краткие доводы, и не усматривать в каждом вашем промахе нового достижения науки. Теперь, когда я облегчил свою душу, мне остается добавить, что доктор Пим в моих глазах является украшением земли, значительно более ценным, чем Парфенон или монумент на Бэнкер Хилле.

— Кончая свою речь, я хотел бы высказать еще одну мысль по поводу многочисленных браков мистера Инносента Смита. Помимо цвета волос, есть еще один признак, объединяющий все эти разрозненные эпизоды. Я говорю о фамилии всех этих разнообразных девиц. Вспомните свидетельство мистера Трипа о том, что фамилия переписчицы была, кажется, Блэйк ¹⁾. Если это так, мы получим довольно пестрый калейдоскоп имен. Мисс Грин ²⁾ в поместье лэди Буллингдон, мисс Браун ³⁾ в Гендонской школе, мисс Блэйк в издательской фирме. Радуга красок, кончающаяся мисс Грэй ⁴⁾ в доме Маяка, в Вест-Гемстеде.

Среди гробового молчания Мун продолжал свою речь.

— Что должна означать эта странная игра красок? Я лично нисколько не сомневаюсь в том, что все это — вымышленные имена, играющие, однако, определенную

¹⁾ Блэйк — по-английски черный.

²⁾ Грин — зеленый.

³⁾ Браун — коричневый.

⁴⁾ Грэй — серый.

роль в общей схеме задуманной подсудимым шутки. Я думаю, что Полли (или Мэри) называется Грин, когда носит зеленый костюм; она же называется Мэри (или Полли) Грэй,—когда надевает серый. Тогда вам станет ясно...

Сайрус Пим побледнел и быстро вскочил с места:

— Вы, действительно, утверждаете... — вскричал он.

— Да,—сказал Майкэл.— Я утверждаю именно это. Много обручений, венчаний и свадеб праздновал Инносент Смит, но у него только одна жена. Час тому назад она сидела здесь, в этом кресле, а сейчас она в саду беседует с мисс Дьюк.

— Да, Инносент Смит основывался в этом деле, так же, как и во всех остальных, на ясном, простом и безукоризненном принципе. Этот принцип кажется в наш век экстравагантным и диким, но какой же простой и безукоризненный принцип не покажется экстравагантным и диким в наш век? Принцип этот можно определить следующими простыми словами: Смит не хочет умирать, пока он жив. То тем, то другим электрическим ударом он желает непрерывно напоминать своему интеллекту, что он все еще живой человек, ходящий по земле на двух ногах. С этой целью он стреляет в своих лучших друзей, с этой целью он устанавливает наружные лестницы и вращающиеся трубы у себя в доме, чтобы ограбить свою собственную квартиру; с этой целью он исколесил всю планету, чтобы снова прийти к себе в дом; с этой целью он всюду берет с собою и оставляет во всевозможных пансионах, учреждениях, школах ту женщину, которой он так неизменно верен и с которой соединяется вновь, устраивая побеги и романтические похищения. Он постоянно опять и опять похищает свою супругу, но глубоко убежден, что он только

тогда сохранит в себе первоначальную веру в ее совершенства, если будет подвергать себя опасности ради нее.

— Его мотивы я считаю достаточно ясными; но, может быть, его убеждения не столь ясны. Мне кажется, что во всех чудачествах Инносента Смита есть какая-то общая, связующая их идея. Я отнюдь не утверждаю, что я сам верю в его идею; я просто думаю, что она стоит того, чтобы жить ею и бороться за нее.

— Идея, которая руководит Смитом, представляется мне в следующем виде. Живя в цепях цивилизации, мы стали считать дурным многое, что само по себе вовсе не дурно. Мы привыкли хулить всякое проявление веселья, — озорство и дурачество, задор и резвость. Сами же по себе эти явления не только простительны, они безупречны. Нет ничего преступного в том, что человек стреляет из револьвера в своего друга, если он знает наверное, что промахнется. Это не менее невинная забава, чем бросать камушки в море; или даже более невинная: ибо в море вы иногда попадаете. Ничего нет преступного в том, чтобы сдвинуть колпак трубы и ворваться в дом через крышу, если этим вы не угрожаете ни жизни, ни собственности прочих людей. Войти в жилище людей сверху не более преступно, чем открыть свой собственный чемодан из-под спуда. Ничего нет преступного в том, что человек, изъездив земной шар, снова возвращается домой. Это так же невинно, как если бы вы вернулись в свой собственный дом после прогулки в саду. Ничего нет преступного в том, что повсюду человек находит себе жену — сегодня здесь, завтра там — если эта жена одна-единственная женщина, которой он верен до гроба. Это так же невинно, как играть в прятки в саду. Вы соединяете представление о подобных поступках чуть ли не с понятием грабежа и насилия, но это с вашей

стороны просто снобизм. Такой же снобизм проявляете вы, когда смутно ассоциируете что-то беспутное с человеком, идущим в ломбард или в кабак. Вы думаете, что идти туда стыдно и пошло, но вы ошибаетесь.

— Все духовные силы этого человека были направлены к тому, чтобы строго разграничить обрядность и веру. Он нарушал обычаи, но заповеди он соблюдал. Он похож на того человека, который предавался бы азартной игре в отвратительном игорном притоне, и вдруг оказалось бы, что он играет не на деньги, а на пуговицы. Вообразите, что вы случайно подслушали, как мужчина назначает на балу в Ковент-Гардене тайное свидание женщине, и вдруг оказывается, что эта женщина—его родная бабушка. Все в его жизни безобразно и дико, всё, кроме подлинных фактов. Всё в нем дурно, за исключением того, что никогда он не делал дурного.

— Мне, может быть, зададут вопрос, чего ради Инносент Смит, находясь уже в зрелом возрасте, ведет такой шутовской образ жизни, могущий навлечь на него столько несправедливых нареканий. На это я отвечу вам следующее: он ведет такую жизнь, потому что он действительно счастлив, потому что он действительно радостен, потому что он действительно человек. Он настолько молод душой, что лазать по деревьям и шалить самым глупым, мальчишеским образом для него такое же удовольствие, как это было в свое время и для нас. И если вы меня спросите, почему же это он один из всех людей должен упражняться во всех этих неистощимых безумствах, я могу дать вам вполне точный и определенный ответ, хотя он вас вряд ли удовлетворит.

— Возможен лишь один ответ, и мне очень жаль, если он будет вам не по вкусу. Если Инносент счастлив,

то только потому, что он Инносент ¹⁾. Если он может пренебречь обрядами, то лишь потому, что он свято хранит заповеди. Именно потому, что он не желает убивать, а хочет только возбуждать людей к жизни, револьвер и представляет для него такое же сокровище, как для малолетнего школьника. Именно потому добро ближнего не соблазняет его, что он усвоил себе великую мудрость, как соблазняться собственным добром. Именно потому, что он не желает прелюбодействовать, он постоянно занимается амурами. Именно потому, что у него всегда одна жена, он переживает с нею много медовых месяцев. Если бы он действительно убил человека, если бы он действительно бросил свою жену, он перестал бы ощущать, что пистолет или любовная записка похожи на песню, и отнюдь не комическую.

— Не воображайте, пожалуйста, что я считаю его поведение приемлемым для себя, или что оно вызывает во мне горячую симпатию. Я—ирландец; в самых моих костях есть тоска—тоска, причину которой следует искать в гонениях на мою веру или—в этой вере. Иначе говоря, я чувствую себя, как человек, неразрывно связанный с трагедией и не имеющий сил вырваться из оков сомнения и отживших эпох. Но, если только есть путь к свободе, то клянусь Христом богом и святителем Патриком ²⁾, это единственный истинный путь. Если человек может стать счастливым, как ребенок или собака, то лишь в том случае, если он невинен, как ребенок, безгрешен, как собака. Быть хорошим, как зверь, вот настоящий путь, и Смит, повидимому, нашел его. Да, да, да, я вижу направленный на меня скептический

¹⁾ Инносент—невинный.

²⁾ Патрик—национальный святитель Ирландии.

взгляд моего друга Моисея. Мистер Гулд не верит, что быть безупречно хорошим—лучший способ достигнуть счастья.

— Да, — с необычайной серьезностью проговорил Гулд, — я не верю, что быть во всех отношениях безупречно хорошим значит достигнуть счастья.

— Прекрасно, — спокойно заметил Майкэл, — но не ответите ли вы мне еще на один вопрос. Кто из нас пробовал это хоть раз?

Наступило молчание, такое глубокое, как молчание длинной геологической эпохи, ожидающей рождения невиданного доселе типа; и действительно, среди гробового молчания вдруг поднялась массивная фигура доктора Уорнера, совершенно забытого всеми присутствующими.

— Джентльмены! — громко произнес доктор Уорнер. — В течение двух суток вы занимали меня беспочвенной и несуразной болтовней, но теперь, кажется, уже темно, а я приглашен в город на званый обед. Во всех бесчисленных цветах пустословия, которые так обильно сыпались с обеих сторон, не мог я уловить ни одного, хотя бы самого ничтожного указания на то, почему вы позволяете сумасшедшему безнаказанно стрелять в меня в вашем саду.

Он надел свой цилиндр и с видом оскорбленного достоинства вышел. Ему вдогонку донесся почти плачущий возглас Пима:

— Но ведь, строго говоря, пуля пролетела в нескольких футах от вас!

А кто-то добавил:

— Вы прожили всю свою жизнь только по милости промаха ¹⁾.

¹⁾ Непередаваемая игра слов. Смысл такой: вас давно уже следовало пристрелить.

Снова наступило молчание, и Мун внезапно сказал:
— Мы сидели рядом с привидением. Доктор Герберт Уорнер давно уже умер.

Глава V

КАК ВЕЛИКИЙ ВЕТЕР ПОМЧАЛСЯ ПРОЧЬ ИЗ ДОМА МАЯКА

Мэри шла посредине, между Розамундой и Дианой. Девушки гуляли по саду—медленно и молчаливо шагали взад и вперед.

Солнце уже село. От дневного света осталось несколько бликов на западе; они были тепло окрашены в молочно-белый цвет, который лучше всего сравнить с цветом свежего сыра. Точно фиолетовый пар локомотива, проносились по этому фону живые полосы перистых светло-лиловых туч. Все остальные предметы тускнели и сливались в сплошную синевато-серую массу, которая, казалось, пропитала насквозь темно-серую фигуру Мэри—словно окутанную садом и небом. Спокойные лучи угасающего дня остановились на ней, как бы подчеркивая ее превосходство; сумерки, спрятавшие под темным покровом более статную фигуру Дианы и более яркую одежду Розамунды, пощадили ее одну—богиню этого сада.

Когда наконец они внезапно заговорили, стало ясно, что они продолжают затихший на время разговор.

— Но куда везет вас ваш муж?—обычным деловым своим тоном спросила Диана.

— К тетке!—сказала Мэри.—В том-то и дело, что тетка действительно существует, и мы оставили у нее наших детей, когда вернулись из того, другого пан-

сиона. Наше праздничное путешествие длится обычно не больше недели, но иногда мы устраиваем себе два праздника подряд.

— Но неужели ваша тетка ничего против этого не имеет? — простодушно спросила Розамунда. — Конечно, это показывает душевную узость, но я знаю немало тетушек, которые, пожалуй, назвали бы такое поведение глупым.

— Глупым! — весело воскликнула Мэри. — О, клянусь моей воскресной шляпкой, и я точно такого же мнения! Но чего вы хотите? Он действительно хороший человек, и пусть лучше будет это, чем змеи, или другая чертовщина в этом роде.

— Змеи? — с любопытством переспросила Розамунда.

— Да. Дядя Гарри держал у себя змей и говорил, что они его любят, — с безмятежным спокойствием отвечала Мэри. — Тетя позволяла ему держать их у себя в карманах, но только не в спальне.

— А вы? — начала было Диана, слегка сдвинув свои темные брови.

— О, я делаю то же самое, что делала тетя, — сказала Мэри. — Я участвую во всех его дурачествах, но с нашими детьми не расстаюсь никогда больше, чем на две недели. Он зовет меня «Живчеловек», и вы должны писать это в одно слово, иначе он непременно рассердится.

— Но если мужчины требуют таких странных вещей... — начала опять Диана.

— О, бросьте говорить о мужчинах! — с нетерпением прервала ее Мэри. — Предоставьте это дамам-писательницам! Мужчин не существует. Нет таких людей. В действительности есть только Мужчина, и, кто бы он ни был, он никогда не похож на других.

— Так что нет никакой гарантии, — тихо проговорила Диана.

— О, я, право, не знаю, — несколько небрежным тоном отвечала Мэри. — О мужчинах есть только две несомненные истины. Первая та, что в иные курьезные мгновения своей жизни они вдруг обретают способность нежно заботиться о нас, и вторая та, что они никогда не бывают способны заботиться о самих себе.

— Надвигается буря, — сказала вдруг Розамунда. — Взгляните на верхушки деревьев! Как быстро несутся по небу тучи!

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказала Мэри, — но не будьте такими глупыми дурами. Не слушайте того, что толкуют вам дамы-писательницы. Вы идете по верной дороге. Да, мой милый Майкэл нередко будет грязноват. Ваш Артур Инглвуд — хуже — на всю жизнь останется чистеньким. Но для чего же созданы все эти деревья и тучи, глупые вы, глупые котята?

— Тучи и деревья охвачены бурей! — сказала Розамунда. — Это так возбуждает меня. Майкэл тоже, как буря — и пугает, и радует.

— Ну, пугаться вам нечего! — сказала Мэри. — Так или иначе, наши мужчины обладают одним несомненным достоинством: они из тех, которые часто уходят из дому.

Внезапный порыв ветра взметнул и помчал по дорожке умиравшие листья; вдалеке послышался бешеный шорох деревьев.

— Я хочу сказать, — продолжала Мэри, — что они из тех людей, которые глядят по сторонам, для которых мир — любопытен. Чем они увлечены, это неважно: спорами, велосипедами или скитаниями по свету вроде моего Инносента. Важно то, что они смотрят из своего

окошка на окружающий мир и пытаются его понять. Таких людей вам и надо любить. Но берегитесь человека, глядящего с улицы в окно и старающегося понять вас. Когда бедняге Адаму пришлось уйти из рая и заняться садоводством (Артур будет заниматься садоводством), туда на его место прокрался гадкий, отвратительный змей.

— Вы согласны с вашей теткой! — сказала Розамунда, улыбаясь. — Змеям не место в спальне!

— О нет, я не во всем согласна с моей теткой, — не задумываясь, ответила Мэри. — Но мне кажется, она была права, позволяя дяде Гарри собирать коллекцию драконов и грифов, так как этим можно было удерживать его подальше от дома.

Почти в ту же минуту в темном доме вспыхнули огни, и две стеклянные двери веранды стали златокованными воротами. Златокованные ворота распахнулись, и огромный Смит, столько часов просидевший на месте, точно неуклюжая статуя, вылетел из дому и, кувырком скача по лужайке, кричал: «Оправдан, оправдан!» — С тем же возгласом выбежал из дому Майкэл. Он подбежал к Розамунде и закружился с ней в бешеном вихре, который, очевидно, должен был изображать вальс. Но присутствующие уже так хорошо знали Инносента и Майкэла, что приняли их выходки, как должное. Гораздо поразительнее было то обстоятельство, что Артур Инглвуд направился прямо к Диане и поцеловал ее так, точно поздравлял свою сестру с днем рождения. Даже доктор Пим, хотя и воздержался от танцев, смотрел на эту сцену с явным благоволением. По правде говоря, нелепая развязка процесса поразила его меньше, чем других; почти наверняка он был уверен, что эти безответственные трибуналы и сумбурные прения предста-

влияют собою остаток средневековых предрассудков Старого Света.

Покуда буря, точно трубным гласом, разрывала небесную твердь, окна в доме одно за другим озарялись огнями; и когда собравшиеся, изнемогая от смеха и от жестокого ветра, двинулись ощупью к дому, они глянули вверх и увидели огромного, обезьяноподобного Инносента Смита. Он высунулся из окна своей мансарды и кричал, что есть силы, опять и опять:

— Это — Маяк, это Дом Маяка!

В руке у него было большое полено, выхваченное из топившейся печки, он махал им у себя над головой; река алого пламени и пурпурного дыма бурно неслась по многошумному ветру.

Из трех графств можно было увидеть его: так отчетливо была освещена его фигура, но когда ветер стих и все после весело-проведенного вечера кинулись искать Инносента и Мэри, поиски не привели ни к чему.

Перевел с английского

К. Чуковский

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Предисловие <i>К. Чуковского</i>	7
Часть I. Загадки Инносента Смита.	
Гл. I. Как великий ветер ворвался в дом Маяка . . .	13
» II. Пожитки оптимиста	30
» III. Знамя Маяка	45
» IV. Сад бога	61
» V. Аллегорические обиды и шутки	78
Часть II. Разгадки Инносента Смита.	
Гл. I. Око смерти, или обвинение в убийстве	108
» II. Два викария, или обвинение в грабеже	143
» III. Круглым путем, или обвинение в бегстве . . .	179
» IV. Сумбурные свадьбы, или обвинение в многожен- стве	209
» V. Как великий ветер помчался прочь из дома Маяка	232

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- | | |
|----------------|---|
| П. Амн | — „Искатели золота“. |
| Г. д'Аннуницио | — „Ноктюрн“, ц. 1 р. |
| П. Бенуа | — „Атлантида“, ц. 60 к. |
| | — „Дорога гигантов“, ц. 75 к. |
| Г. Бергстедт | — „Александрсен“, ц. 1 р. 75 к. |
| | — „Праздник Йоргена“, ц. 90 к. |
| Сириль Берже | — „В то время, как он сражается“. |
| А. Бери | — „Страдания толстяка“, ц. 50 к. |
| С. Брюсовский | — „Зарево“, ц. 1 р. 25 к. |
| Ф. Верфель | — „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к. |
| К. Гамсун | — „Соки земли“, ц. 65 к. |
| | — „Местечко Сегельфос“. |
| Г. Гауптман | — „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к. |
| П. Гзель | — „Беседы А. Франса“, ц. 70 к. |
| О. Генри | — Рассказы, ц. 1 р. |
| „ | — „Короли и капуста“, ц. 90 к. |
| „ | — „Рассказы жулика“. |
| Р. Гольст | — „Лирические драмы“, ц. 45 к. |
| Л. Деллюк | — „В дебрях кинематографа“. |
| Ж. Дюамель | — „Полночная исповедь“. |
| Э. Зеллигер | — „Петер Фосс“. |
| С. Лагерлев | — „Гномы и люди“, ц. 35 к. |
| Р. Маран | — „Батуала“, ц. 45 к. |
| К. Мейринк | — „Голем“, ц. 70 к. |
| М. Маркс | — „Женщина“, ц. 50 к. |
| М. Матерлинк | — „Белая невеста“, пьеса, ц. 40 к. |
| Ф. де Миомандр | — „Золотой телец“. |
| Дж. Мэйзфилд | — Пьесы, ц. 60 к. |
| Папалаги | — Ц. 30 к. |
| Джс. Папини | — „Конченный человек“, ц. 1 р. 20 к. |
| Ж. Ромен | — „Довогоо-Тонка“, ц. 25 к. |
| Р. Роллан | — „Кола Бренъон“, ц. 70 к. |
| „ | — „Пьер и Люс“, ц. 35 к. |
| „ | — „Клерамбо“, ц. 1 р. |
| „ | — „Аннетт и Сильвия“, ц. 55 к. |

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

- Дж. Синг — „Герои“, пьеса, ц. 55 к.
 Э. Синклэр — „Сто процентов“, ц. 75 к.
 „ — „Ад“, ц. 75 к.
 Струг — „Деньги“, ц. 1 р. 40 к.
 Р. Тагор — „Воспоминания“.
 Г. Уэллс — „Неугасимый огонь“, ц. 40 к.
 Ф. Унру — Драммы, ц. 1 р. 10 к.
 А. Франс — „Жизнь в цвету“, ц. 80 к.
 Л. Франк — „Человек добр“, ц. 30 к.
 Л. Фульда — „Тень осла“, ц. 80 к.
 К. Штернгейм — „Четыре новеллы“, ц. 50 к.
 Б. Шо — „Назад к Мафусаилу“, ц. 2 р. 50 к.
 К. Эдмунд — „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
 „ — „Тимур“, ц. 75 к.
 К. Эйсер — „Испытание богов“, ц. 75 к.
 Экспрессионизм — Сборник статей, с иллюстрациями,
 ц. 1 р. 40 к.
 „Французская революция в провинции и на фронте“.
 Г. Бюхнер — „Смерть Дантона. Войчек“.
 Э. По — „Стихи“.
 Вольтер — „Орлеанская девственница“, т. I.
 Б. Богаевский — „Крит и Микены“ (Эгейская куль-
 тура).
 „Хетты и хеттская культура“.

ЖУРНАЛ „ВОСТОК“

под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, акаде-
 мика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Але-
 ксеева, профессора Б. Я. Владимирцова и
 А. Н. Тихонова.

№№ 1, 2, 3 и 4.

Печатается № 5.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛ ПОДПИСНЫХ и ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Москва, Воздвиженка, 10/2, тел. 5-89-56
Ленинград, пр. Нахимсона, 8, тел. 5-48-05

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1924 г.

НА

ИЛЛЮСТРИРОВ.
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ,
НАУКИ
и ИСКУССТВА

**„СОВРЕМЕННЫЙ
— ЗАПАД“ —**

6 книг
в год,
объемом до
16 л. кажд.

2-й год издания

Журнал литературы, науки и искусства.

В программу журнала входит ознакомление русского читателя с новейшей западно-европейской литературой.

Редакционная коллегия: Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов, К. И. Чуковский и А. М. Эфрос.

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

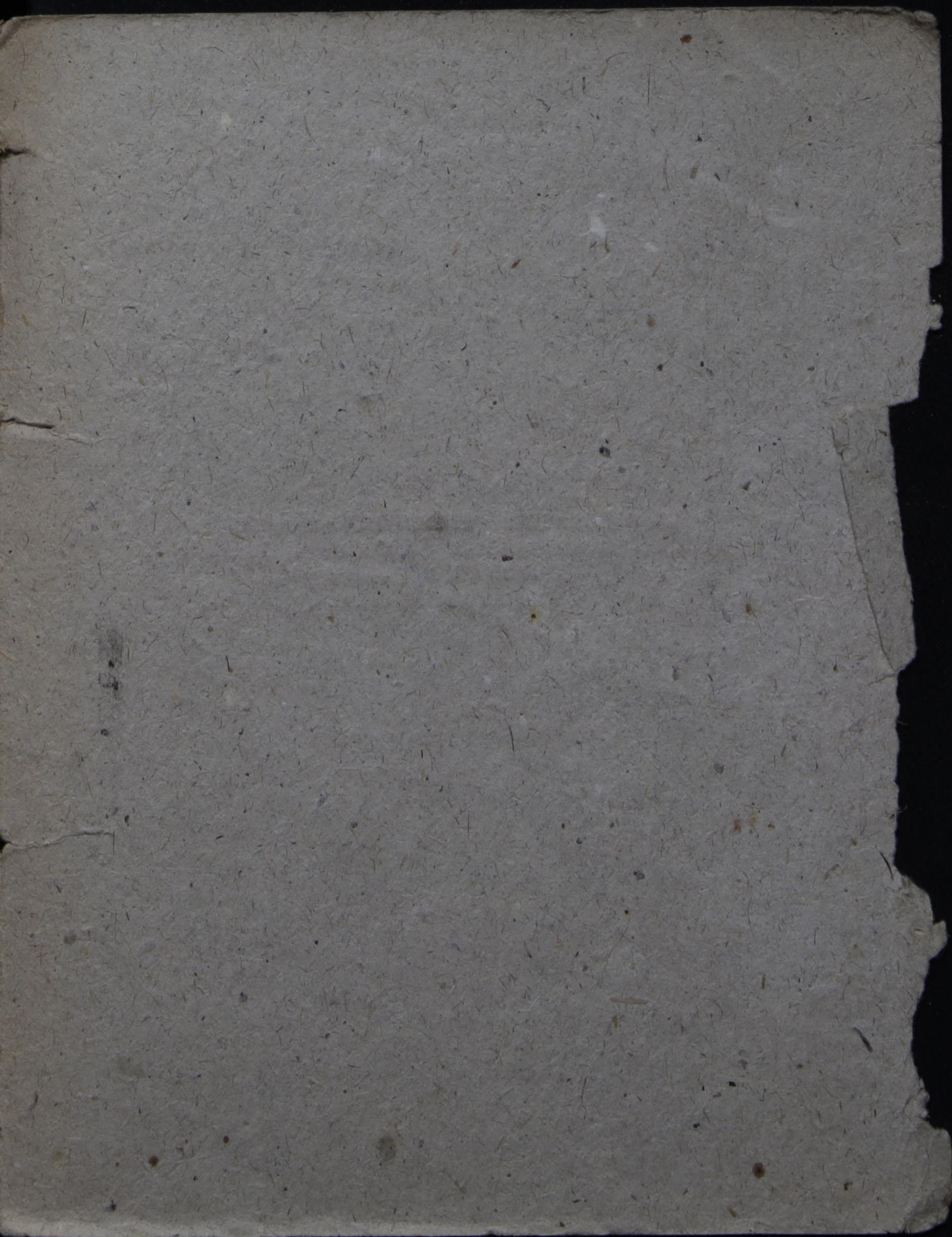
I. Художественный—переводные стихи, повести, статьи по искусству. II. Библиография. III. Хроника иностранной литературы, науки и искусства. IV. Иллюстрации.

В течение года выйдет 6 книг.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА С ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На год—**15 руб.**, на 6 мес.—**8 руб.**
За границу на **50%** дороже.

За перемену адреса следует присылать 25 коп. (почтовыми марками).



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ЛЕНИНГРАД
МОХОВАЯ, № 36.